НИКОЛАЙ КАРАМЗИН





Он много помог русским людям лучше понимать свое прошлое, но еще больше он заставил их любить его.

В. Ключевский

Повести. Стихотворения. Публицистика.

школьная хрестоматия

НИКОЛАЙ КАРАМЗИН

Повести. Стихотворения. Публицистика



Олимп
Москва
2001

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6
К 21

Серия «Школьная хрестоматия»

Серийное оформление
Власов С. Е.

Компьютерный дизайн
Казиев А. Р.

Подписано в печать 15.04.01.
Формат 84x108 1/32. Гарнитура «Школьная».
Усл. печ. л. 10,92. Тираж 8 000 экз. Заказ № 3756.

Карамзин Н. М.
К 21 Повести. Стихотворения. Публицистика. — М.: «Издательство «Олимп», «Издательство АСТ», 2001. — 208 с. — (Школьная хрестоматия).

ISBN 5-17-008462-5 («Издательство АСТ»)
ISBN 5-8195-0496-8 («Издательство «Олимп»)

Настоящее издание кроме произведений Н. М. Карамзина, изучаемых в школе, содержит дополнительные материалы в помощь школьникам: комментарии, материалы к биографии, критические статьи, темы сочинений, тезисный план и сочинение.

Адресуется учащимся старших классов и абитуриентам.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6

ISBN 5-17-008462-5 («Издательство АСТ»)
ISBN 5-8195-0496-8 («Издательство «Олимп»)

ПОВЕСТИ

БЕДНАЯ ЛИЗА

Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестностей города сего, как я, потому что никто чаще моего не бывает в поле, никто более моего не бродит пешком, без плана, без цели — куда глаза глядят — по лугам и рощам, по холмам и равнинам. Всякое лето нахожу новые приятные места или в старых новые красоты. Но всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные, готические башни Си...нова монастыря. Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей, которая представляется глазам в образе величественного амфитеатра: великолепная картина, особливо когда светит на нее солнце, когда вечерние лучи его пылают на бесчисленных златых куполах, на бесчисленных крестах, к небу возносящихся! Внизу расстилаются тучные, густо-зеленые, цветущие луга, а за ними, по желтым пескам, течет светлая река, волнуемая легкими веслами рыбачьих лодок или шумящая под рулем грузных стругов, которые плывут от плодоноснейших стран Российской империи и наделяют алчную Москву хлебом.

На другой стороне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленные стада; там молодые пастухи, сидя под тению дерев, поют простые, унылые песни и сокращают тем летние дни, столь для них единообразные. Подалее, в густой зелени древних вязов, блистает златоглавый Данилов монастырь; еще далее, почти на краю горизонта, синеются Воробьевы горы. На левой же стороне видны обширные, хлебом покрытые

поля, лесочки, три или четыре деревеньки и вдали село Коломенское с высоким дворцом своим.

Часто прихожу на сие место и почти всегда встречаю там весну; туда же прихожу и в мрачные дни осени горевать вместе с природою. Страшно воют ветры в стенах опустевшего монастыря, между гробов, заросших высокою травою, и в темных переходах келий. Там, опершись на развалинах гробных камней, внимаю глухому стону времен, бездною минувшего поглощенных, — стону, от которого сердце мое содрогается и трепещет. Иногда вхожу в келии и представляю себе тех, которые в них жили, — печальные картины! Здесь вижу седого старца, преклонившего колена перед распятием и молящегося о скором разрешении земных оков своих, ибо все удовольствия исчезли для него в жизни, все чувства его умерли, кроме чувства болезни и слабости. Там юный монах — с бледным лицом, с томным взором — смотрит в поле сквозь решетку окна, видит веселых птичек, свободно плавающих в море воздуха, видит — и проливает горькие слезы из глаз своих. Он томится, вянет, сохнет — и унылый звон колокола возвещает мне безвременную смерть его. Иногда на вратах храма рассматриваю изображение чудес, в сем монастыре случившихся, там рыбы падают с неба для насыщения жителей монастыря, осажденного многочисленными врагами; тут образ Богоматери обращает неприятелей в бегство. Все сие обновляет в моей памяти историю нашего отечества — печальную историю тех времен, когда свирепые татары и литовцы огнем и мечом опустошали окрестности российской столицы и когда несчастная Москва, как беззащитная вдовица, от одного Бога ожидала помощи в лютых своих бедствиях.

Но всего чаще привлекает меня к стенам Си...нова монастыря воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы. Ах! Я люблю те предметы, которые трогают мое сердце и заставляют меня проливать слезы нежной скорби!

Саженях в семидесяти от монастырской стены, подле березовой рощицы, среди зеленого луга, стоит пустая хижина, без дверей, без окончин, без полу; кровля давно

сгнила и обвалилась. В этой хижине лет за тридцать перед сим жила прекрасная, любезная Лиза с старушкою, матерью своею.

Отец Лизин был довольно зажиточный поселянин, потому что он любил работу, пахал хорошо землю и вел всегда трезвую жизнь. Но скоро по смерти его жена и дочь обедняли. Ленивая рука наемника худо обрабатывала поле, и хлеб перестал хорошо родиться. Они принуждены были отдать свою землю внаем, и за весьма небольшие деньги. К тому же бедная вдова, почти беспрестанно проливая слезы о смерти мужа своего — ибо и крестьянки любить умеют! — день ото дня становилась слабее и совсем не могла работать. Одна Лиза, которая осталась после отца пятнадцати лет, — одна Лиза, не щадя своей нежной молодости, не щадя редкой красоты своей, трудилась день и ночь — ткала холсты, вязала чулки, весною рвала цветы, а летом брала ягоды — и продавала их в Москве. Чувствительная, добрая старушка, видя неутомимость дочери, часто прижимала ее к слабо биющемуся сердцу, называла Божескою милостию, кормилицею, отрадою старости своей и молила Бога, чтобы он наградил ее за все то, что она делает для матери.

«Бог дал мне руки, чтобы работать, — говорила Лиза, — ты кормила меня своею грудью и ходила за мною, когда я была ребенком; теперь пришла моя очередь ходить за тобою. Перестань только крушиться, перестань плакать; слезы наши не оживят батюшки».

Но часто нежная Лиза не могла удержать собственных слез своих — ах! она помнила, что у нее был отец и что его не стало, но для успокоения матери старалась таить печаль сердца своего и казаться покойною и веселою. «На том свете, любезная Лиза, — отвечала горестная старушка, — на том свете перестану я плакать. Там, сказывают, будут все веселы; я, верно, весела буду, когда увижу отца твоего. Только теперь не хочу умереть — что с тобою без меня будет? На кого тебя покинуть? Нет, дай Бог прежде пристроить тебя к месту! Может быть, скоро сыщется добрый человек. Тогда благослови вас, милых

детей моих, перекрещусь и спокойно лягу в сырую землю».

Прошло два года после смерти отца Лизина. Луга покрылись цветами, и Лиза пришла в Москву с ландышами. Молодой, хорошо одетый человек, приятного вида, встретился ей на улице. Она показала ему цветы — и закраснелась. «Ты продаешь их, девушка?» — спросил он с улыбкою. «Продаю», — отвечала она. «А что тебе надобно?» — «Пять копеек». — «Это слишком дешево. Вот тебе рубль». Лиза удивилась, осмелилась взглянуть на молодого человека, — еще более закраснелась и, потупив глаза в землю, сказала ему, что она не возьмет рубля. «Для чего же?» — «Мне не надобно лишнего». — «Я думаю, что прекрасные ландыши, сорванные руками прекрасной девушки, стоят рубля. Когда же ты не берешь его, вот тебе пять копеек. Я хотел бы всегда покупать у тебя цветы; хотел бы, чтобы ты рвала их только для меня». Лиза отдала цветы, взяла пять копеек, поклонилась и хотела идти, но незнакомец остановил ее за руку. «Куда же ты пойдешь, девушка?» — «Домой». — «А где дом твой?» Лиза сказала, где она живет, сказала и пошла. Молодой человек не хотел удерживать ее, может быть для того, что мимоходящие начали останавливаться и, смотря на них, коварно усмехались.

Лиза, пришедши домой, рассказала матери, что с нею случилось. «Ты хорошо сделала, что не взяла рубля. Может быть, это был какой-нибудь дурной человек...» — «Ах нет, матушка! Я этого не думаю. У него такое доброе лицо, такой голос...» — «Однако ж, Лиза, лучше кормиться трудами своими и ничего не брать даром. Ты еще не знаешь, друг мой, как злые люди могут обидеть бедную девушку! У меня всегда сердце бывает не на своем месте, когда ты ходишь в город; я всегда ставлю свечу перед образом и молю Господа Бога, чтобы он сохранил тебя от всякой беды и напасти». У Лизы навернулись на глазах слезы; она поцеловала мать свою.

На другой день нарвала Лиза самых лучших ландышей и опять пошла с ними в город. Глаза ее тихонько чего-то искали.

Многие хотели у нее купить цветы, но она отвечала,

что они непродажные, и смотрела то в ту, то в другую сторону. Наступил вечер, надлежало возвратиться домой, и цветы были брошены в Москву-реку. «Никто не владей вами!» — сказала Лиза, чувствуя какую-то грусть в сердце своем.

На другой день ввечеру сидела она под окном, пряла и тихим голосом пела жалобные песни, но вдруг вскочила и закричала: «Ах!..» Молодой незнакомец стоял под окном.

«Что с тобой сделалось?» — спросила испугавшаяся мать, которая подле нее сидела. «Ничего, матушка, — отвечала Лиза робким голосом, — я только его увидела». — «Кого?» — «Того господина, который купил у меня цветы». Старуха выглянула в окно.

Молодой человек поклонился ей так учтиво, с таким приятным видом, что она не могла подумать об нем ничего, кроме хорошего. «Здравствуй, добрая старушка! — сказал он. — Я очень устал; нет ли у тебя свежего молока?» Услужливая Лиза, не дождавшись ответа от матери своей — может быть, для того, что она его знала наперед, — побежала на погреб — принесла чистую кринку, покрытую чистым деревянным кружком, — схватила стакан, вымыла, вытерла его белым полотенцем, налила и подала в окно, но сама смотрела в землю. Незнакомец выпил — и нектар из рук Гебы не мог бы показаться ему вкуснее. Всякий догадается, что он после того благодарил Лизу, и благодарил не столько словами, сколько взорами.

Между тем добродушная старушка успела рассказать ему о своем горе и утешении — о смерти мужа и о милых свойствах дочери своей, об ее трудолюбии и нежности, и проч. и проч. Он слушал ее со вниманием, но глаза его были — нужно ли сказывать где? И Лиза, робкая Лиза посматривала изредка на молодого человека; но не так скоро молния блестит и в облаке исчезает, как быстро голубые глаза ее обращались к земле, встречаясь с его взором. — «Мне хотелось бы, — сказал он матери, — чтобы дочь твоя никому, кроме меня, не продавала своей работы. Таким образом, ей незачем будет часто ходить в город, и ты не принуждена будешь с нею расставаться.

Я сам по временам могу заходить к вам». Тут в глазах Лизиных блеснула радость, которую она тщетно сокрыть хотела; щеки ее пылали, как заря в ясный летний вечер; она смотрела на левый рукав свой и щипала его правою рукою. Старушка с охотою приняла сие предложение, не подозревая в нем никакого худого намерения, и уверяла незнакомца, что полотно, вытканное Лизой, и чулки, вывязанные Лизой, бывают отменно хороши и носятся долее всяких других. Становилось темно, и молодой человек хотел уже идти. «Да как же нам называть тебя, добрый, ласковый барин?» — спросила старуха. «Меня зовут Эрастом», — отвечал он. «Эрастом, — сказала тихонько Лиза, — Эрастом!» Она раз пять повторила сие имя, как будто бы стараясь затвердить его. Эраст простился с ними до свидания и пошел. Лиза провожала его глазами, а мать сидела в задумчивости и, взяв за руку дочь свою, сказала ей: «Ах, Лиза! Как он хорош и добр! Если бы жених твой был таков!» Все Лизино сердце затрепетало. «Матушка! Матушка! Как этому статься? Он барин, а между крестьянами...» — Лиза не договорила речи своей.

Теперь читатель должен знать, что сей молодой человек, сей Эраст был довольно богатый дворянин, с изрядным разумом и добрым сердцем, добрым от природы, но слабым и ветреным. Он вел рассеянную жизнь, думал только о своем удовольствии, искал его в светских забавах, но часто не находил: скучал и жаловался на судьбу свою. Красота Лизы при первой встрече сделала впечатление в его сердце. Он читывал романы, идиллии, имел довольно живое воображение и часто переселялся мысленно в те времена (бывшие или не бывшие), в которые, если верить стихотворцам, все люди беспечно гуляли по лугам, купались в чистых источниках, целовались, как горлицы, отдыхали под розами и миртами и в счастливой праздности все дни свои провождали. Ему казалось, что он нашел в Лизе то, чего сердце его давно искало. «Натура призывает меня в свои объятия, к чистым своим радостям», — думал он и решился — по крайней мере на время — оставить большой свет.

Обратимся к Лизе. Наступила ночь — мать благосло-

вила дочь свою и пожелала ей кроткого сна, но на сей раз желание ее не исполнилось: Лиза спала очень худо. Новый гость души ее, образ Эрастов, столь живо ей представлялся, что она почти всякую минуту просыпалась, просыпалась и вздыхала. Еще до восхождения солнечного Лиза встала, сошла на берег Москвы-реки, села на траве и, подгорюнившись, смотрела на белые туманы, которые волновались в воздухе и, подымаясь вверх, оставляли блестящие капли на зеленом покрове натуры. Везде царствовала тишина. Но скоро восходящее светило дня пробудило все творение: рощи, кусточки оживились, птички вспорхнули и запели, цветы подняли свои головки, чтобы напиться животворными лучами света. Но Лиза все еще сидела подгорюнившись. Ах, Лиза, Лиза! Что с тобою сделалось? До сего времени, просыпаясь вместе с птичками, ты вместе с ними веселилась утром, и чистая, радостная душа светилась в глазах твоих, подобно как солнце светится в каплях росы небесной; но теперь ты задумчива, и общая радость природы чужда твоему сердцу. — Между тем молодой пастух по берегу реки гнал стадо, играя на свирели. Лиза устремила на него взор свой и думала: «Если бы тот, кто занимает теперь мысли мои, рожден был простым крестьянином, пастухом, — и если бы он теперь мимо меня гнал стадо свое: ах! я поклонилась бы ему с улыбкою и сказала бы приветливо: «Здравствуй, любезный пастушок! Куда гонишь ты стадо свое? И здесь растет зеленая трава для овец твоих, и здесь алеют цветы, из которых можно сплести венок для шляпы твоей». Он взглянул бы на меня с видом ласковым — взял бы, может быть, руку мою... Мечта!» Пастух, играя на свирели, прошел мимо и с пестрым стадом своим скрылся за ближним холмом.

Вдруг Лиза услышала шум весел — взглянула на реку и увидела лодку, а в лодке — Эраста.

Все жилки в ней забились, и, конечно, не от страха. Она встала, хотела идти, но не могла. Эраст выскочил на берег, подошел к Лизе и — мечта ее отчасти исполнилась: ибо он *взглянул на нее с видом ласковым, взял ее за руку*... А Лиза, Лиза стояла с потупленным взором, с огненными щеками, с трепещущим сердцем — не

могла отнять у него руки, не могла отворотиться, когда он приближался к ней с розовыми губами своими... Ах! Он поцеловал ее, поцеловал с таким жаром, что вся вселенная показалась ей в огне горящею! «Милая Лиза! — сказал Эраст. — Милая Лиза! Я люблю тебя!», и сии слова отозвались во глубине души ее, как небесная, восхитительная музыка; она едва смела верить ушам своим и...

Но я бросаю кисть. Скажу только, что в сию минуту восторга исчезла Лизина робость — Эраст узнал, что он любим, любим страстно новым, чистым, открытым сердцем.

Они сидели на траве, и так, что между ими оставалось не много места, — смотрели друг другу в глаза, говорили друг другу: «Люби меня!», и два часа показались им мигом. Наконец Лиза вспомнила, что мать ее может об ней беспокоиться. Надлежало расстаться. «Ах, Эраст! — сказала она. — Всегда ли ты будешь любить меня?» — «Всегда, милая Лиза, всегда!» — отвечал он. «И ты можешь мне дать в этом клятву?» — «Могу, любезная Лиза, могу!» — «Нет! Мне не надобно клятвы. Я верю тебе, Эраст, верю. Ужели ты обманешь бедную Лизу? Ведь этому нельзя быть?» — «Нельзя, нельзя, милая Лиза!» — «Как я счастлива, и как обрадуется матушка, когда узнает, что ты меня любишь!» — «Ах нет, Лиза! Ей не надобно ничего сказывать». — «Для чего же?» — «Старые люди бывают подозрительны. Она вообразит себе что-нибудь худое». — «Нельзя статься». — «Однако ж прошу тебя не говорить ей об этом ни слова». — «Хорошо: надобно тебя послушаться, хотя мне и не хотелось бы ничего таить от нее».

Они простились, поцеловались в последний раз и обещались всякий день ввечеру видеться или на берегу реки, или в березовой роще, или где-нибудь близ Лизиной хижины, только верно, непременно видеться. Лиза пошла, но глаза ее сто раз обращались на Эраста, который все еще стоял на берегу и смотрел вслед за нею.

Лиза возвратилась в хижину свою совсем не в таком расположении, в каком из нее вышла. На лице и во всех ее движениях обнаруживалась сердечная радость. «Он

меня любит!» — думала она и восхищалась сею мыслию. «Ах, матушка! — сказала Лиза матери своей, которая лишь только проснулась. — Ах, матушка! Какое прекрасное утро! Как все весело в поле! Никогда жаворонки так хорошо не певали, никогда солнце так светло не сияло, никогда цветы так приятно не пахли!» Старушка, подпираясь клюкою, вышла на луг, чтобы насладиться утром, которое Лиза такими прелестными красками описывала. Оно в самом деле показалось ей отменно приятным; любезная дочь весельем своим развеселяла для нее всю натуру. «Ах, Лиза! — говорила она. — Как все хорошо у Господа Бога! Шестой десяток доживаю на свете, а все еще не могу наглядеться на дела Господни, не могу наглядеться на чистое небо, похожее на высокий шатер, и на землю, которая всякий год новою травою и новыми цветами покрывается. Надобно, чтобы Царь небесный очень любил человека, когда Он так хорошо убрал для него здешний свет. Ах, Лиза! Кто бы захотел умереть, если бы иногда не было нам горя?.. Видно, так надобно. Может быть, мы забыли душу свою, если бы из глаз наших никогда слезы не капали». А Лиза думала: «Ах! Я скорее забуду душу свою, нежели милого моего друга!»

После сего Эраст и Лиза, боясь не сдержать слова своего, всякий вечер виделись (тогда, как Лизина мать ложилась спать) или на берегу реки, или в березовой роще, но всего чаще под тенью столетних дубов (саженях в осьмидесяти от хижины) — дубов, осеняющих глубокий чистый пруд, еще в древние времена ископанный. Там часто тихая луна, сквозь зеленые ветви, посребряла лучами своими светлые Лизины волосы, которыми играли зефиры и рука милого друга; часто лучи сии освещали в глазах нежной Лизы блестящую слезу любви, осушаемую всегда Эрастовым поцелуем. Они обнимались — но целомудренная, стыдливая Цинтия не скрывалась от них за облако: чисты и непорочны были их объятия. «Когда ты, — говорила Лиза Эрасту, — когда ты скажешь мне: «Люблю тебя, друг мой!», когда прижмешь меня к своему сердцу и взглянешь на меня умильными своими глазами, ах! тогда бывает мне так хорошо, так хорошо, что я себя забываю, забываю все, кроме

Эраста. Чудно́! Чудно́, мой друг, что я, не знав тебя, могла жить спокойно и весело! Теперь мне это непонятно, теперь думаю, что без тебя жизнь не жизнь, а грусть и скука. Без глаз твоих темен светлый месяц; без твоего голоса скучен соловей поющий; без твоего дыхания ветерок мне неприятен». Эраст восхищался своей пастушкой — так называл Лизу — и, видя, сколь она любит его, казался сам себя любезнее. Все блестящие забавы большого света представлялись ему ничтожными в сравнении с теми удовольствиями, которые *страстная дружба* невинной души питала сердце его. С отвращением помышлял он о презрительном сладострастии, которым прежде упивались его чувства. «Я буду жить с Лизою, как брат с сестрою, — думал он, — не употреблю во зло любви ее и буду всегда счастлив!» Безрассудный молодой человек! Знаешь ли ты свое сердце? Всегда ли можешь отвечать за свои движения? Всегда ли рассудок есть царь чувств твоих?

Лиза требовала, чтобы Эраст часто посещал мать ее. «Я люблю ее, — говорила она, — и хочу ей добра, а мне кажется, что видеть тебя есть великое благополучие для всякого». Старушка в самом деле всегда радовалась, когда его видела. Она любила говорить с ним о покойном муже и рассказывать ему о днях своей молодости, о том, как она в первый раз встретилась с милым своим Иваном, как он полюбил ее и в какой любви, в каком согласии жил с нею. «Ах! Мы никогда не могли друг на друга наглядеться — до самого того часа, как лютая смерть подкосила ноги его. Он умер на руках моих!» Эраст слушал ее с непритворным удовольствием. Он покупал у нее Лизину работу и хотел всегда платить в десять раз дороже назначаемой ею цены, но старушка никогда не брала лишнего.

Таким образом прошло несколько недель. Однажды ввечеру Эраст долго ждал своей Лизы. Наконец пришла она, но так невесела, что он испугался; глаза ее от слез покраснели. «Лиза, Лиза! Что с тобою сделалось?» — «Ах, Эраст! Я плакала!» — «О чем? Что такое?» — «Я должна сказать тебе все. За меня сватается жених, сын богатого крестьянина из соседней деревни; матушка

хочет, чтобы я за него вышла». — «И ты соглашаешься?» — «Жестокий! Можешь ли об этом спрашивать? Да, мне жаль матушки; она плачет и говорит, что я не хочу ее спокойствия, что она будет мучиться при смерти, если не выдаст меня при себе замуж. Ах! Матушка не знает, что у меня есть такой милый друг!» Эраст целовал Лизу, говорил, что ее счастие дороже ему всего на свете, что по смерти матери ее он возьмет ее к себе и будет жить с нею неразлучно, в деревне и в дремучих лесах, как в раю. «Однако ж тебе нельзя быть моим мужем!» — сказала Лиза с тихим вздохом. «Почему же?» — «Я крестьянка». — «Ты обижаешь меня. Для твоего друга важнее всего душа, чувствительная невинная душа, — и Лиза будет всегда ближайшая к моему сердцу».

Она бросилась в его объятия — и в сей час надлежало погибнуть непорочности! Эраст чувствовал необыкновенное волнение в крови своей — никогда Лиза не казалась ему столь прелестною — никогда ласки ее не трогали его так сильно — никогда ее поцелуи не были столь пламенны — она ничего не знала, ничего не подозревала, ничего не боялась — мрак вечера питал желания — ни одной звездочки не сияло на небе — никакой луч не мог осветить заблуждения. — Эраст чувствует в себе трепет — Лиза также, не зная, отчего, не зная, что с нею делается... Ах, Лиза, Лиза! Где ангел-хранитель твой? Где — твоя невинность?

Заблуждение прошло в одну минуту. Лиза не понимала чувств своих, удивлялась и спрашивала. Эраст молчал — искал слов и не находил их. «Ах, я боюсь, — говорила Лиза, — боюсь того, что случилось с нами! Мне казалось, что я умираю, что душа моя... Нет, не умею сказать этого!.. Ты молчишь, Эраст? Вздыхаешь?.. Боже мой! Что такое?» Между тем блеснула молния и грянул гром. Лиза вся задрожала. «Эраст, Эраст! — сказала она. — Мне страшно! Я боюсь, чтобы гром не убил меня, как преступницу!» Грозно шумела буря, дождь лился из черных облаков — казалось, что натура сетовала о потерянной Лизиной невинности. Эраст старался успокоить Лизу и проводил ее до хижины. Слезы катились из глаз ее, когда она прощалась с ним. «Ах, Эраст! Уверь

меня, что мы будем по-прежнему счастливы!» — «Будем, Лиза, будем!» — отвечал он. — «Дай Бог! Мне нельзя не верить словам твоим: ведь я люблю тебя! Только в сердце моем... Но полно! Прости! Завтра, завтра увидимся».

Свидания их продолжались; но как все переменилось! Эраст не мог уже доволен быть одними невинными ласками своей Лизы — одними ее любви исполненными взорами — одним прикосновением руки, одним поцелуем, одними чистыми объятиями. Он желал больше, больше и, наконец, ничего желать не мог, — а кто знает сердце свое, кто размышлял о свойстве нежнейших его удовольствий, тот, конечно, согласится со мною, что исполнение всех желаний есть самое опасное искушение любви. Лиза не была уже для Эраста сим ангелом непорочности, который прежде воспалял его воображение и восхищал душу. Платоническая любовь уступила место таким чувствам, которыми он не мог гордиться и которые были для него уже не новы. Что принадлежит до Лизы, то она, совершенно ему отдавшись, им только жила и дышала, во всем, как агнец, повиновалась его воле и в удовольствии его полагала свое счастие. Она видела в нем перемену и часто говорила ему: «Прежде бывал ты веселее, прежде бывали мы покойнее и счастливее, и прежде я не так боялась потерять любовь твою!» Иногда, прощаясь с ней, он говорил ей: «Завтра, Лиза, не могу с тобою видеться: мне встретилось важное дело», — и всякий раз при сих словах Лиза вздыхала.

Наконец пять дней сряду она не видела его и была в величайшем беспокойстве; в шестой пришел он с печальным лицом и сказал: «Любезная Лиза! Мне должно на несколько времени с тобою проститься. Ты знаешь, что у нас война, я в службе, полк мой идет в поход». Лиза побледнела и едва не упала в обморок.

Эраст ласкал ее, говорил, что он всегда будет любить милую Лизу и надеется по возвращении своем уже никогда с нею не расставаться. Долго она молчала, потом залилась горькими слезами, схватила руку его и, взглянув на него со всею нежностью любви, спросила: «Тебе нельзя остаться?» — «Могу, — отвечал он, — но только с величайшим бесславием, с величайшим пятном для

моей чести. Все будут презирать меня; все будут гнушаться мною, как трусом, как недостойным сыном отечества». — «Ах, когда так, — сказала Лиза, — то поезжай, поезжай, куда Бог велит! Но тебя могут убить». — «Смерть за отечество не страшна, любезная Лиза». — «Я умру, как скоро тебя не будет на свете». — «Но зачем это думать? Я надеюсь остаться жив, надеюсь возвратиться к тебе, моему другу». — «Дай Бог! Дай Бог! Всякий день, всякий час буду о том молиться. Ах, для чего не умею ни читать, ни писать! Ты бы уведомлял меня обо всем, что с тобою случится, а я писала бы к тебе — о слезах своих!» — «Нет, береги себя, Лиза, береги для друга твоего. Я не хочу, чтобы ты без меня плакала». — «Жестокий человек! Ты думаешь лишить меня и этой отрады! Нет! расставшись с тобою, разве тогда перестану плакать, когда высохнет сердце мое». — «Думай о приятной минуте, в которую опять мы увидимся». — «Буду, буду думать о ней! Ах, если бы она пришла скорее! Любезный, милый Эраст! Помни, помни свою бедную Лизу, которая любит тебя более, нежели самое себя!»

Но я не могу описать всего, что они при сем случае говорили. На другой день надлежало быть последнему свиданию.

Эраст хотел проститься и с Лизиною матерью, которая не могла от слез удержаться, слыша, что ласковый, пригожий барин ее должен ехать на войну. Он принудил ее взять у него несколько денег, сказав: «Я не хочу, чтобы Лиза в мое отсутствие продавала работу свою, которая, по уговору, принадлежит мне». Старушка осыпала его благословениями. «Дай Господи, — говорила она, — чтобы ты к нам благополучно возвратился и чтобы я тебя еще раз увидела в здешней жизни! Авось-либо моя Лиза к тому времени найдет себе жениха по мыслям. Как бы я благодарила Бога, если б ты приехал к нашей свадьбе! Когда же у Лизы будут дети, знай, барин, что ты должен крестить их! Ах! Мне бы очень хотелось дожить до этого!» Лиза стояла подле матери и не смела взглянуть на нее. Читатель легко может вообразить себе, что она чувствовала в сию минуту.

Но что же чувствовала она тогда, когда Эраст, обняв

ее в последний раз, в последний раз прижав к своему сердцу, сказал: «Прости, Лиза!..» Какая трогательная картина! Утренняя заря, как алое море, разливалась по восточному небу. Эраст стоял под ветвями высокого дуба, держа в объятиях свою бедную, томную, горестную подругу, которая, прощаясь с ним, прощалась с душою своею. Вся натура пребывала в молчании.

Лиза рыдала — Эраст плакал — оставил ее — она упала — стала на колени, подняла руки к небу и смотрела на Эраста, который удалялся — далее — далее — и, наконец, скрылся — воссияло солнце, и Лиза, оставленная, бедная, лишилась чувств и памяти.

Она пришла в себя — и свет показался ей уныл и печален. Все приятности натуры сокрылись для нее вместе с любезным ее сердцу. «Ах! — думала она. — Для чего я осталась в этой пустыне? Что удерживает меня лететь вслед за милым Эрастом? Война не страшна для меня; страшно там, где нет моего друга. С ним жить, с ним умереть хочу или смертию своею спасти его драгоценную жизнь. Постой, постой, любезный! Я лечу к тебе!» Уже хотела она бежать за Эрастом, но мысль: «У меня есть мать!» — остановила ее. Лиза вздохнула и, преклонив голову, тихими шагами пошла к своей хижине. С сего часа дни ее были днями тоски и горести, которую надлежало скрывать от нежной матери: тем более страдало сердце ее! Тогда только облегчалось оно, когда Лиза, уединяясь в густоту леса, могла свободно проливать слезы и стенать о разлуке с милым. Часто печальная горлица соединяла жалобный голос свой с ее стенанием. Но иногда — хотя весьма редко — златой луч надежды, луч утешения освещал мрак ее скорби. «Когда он возвратится ко мне, как я буду счастлива! Как все переменится!» От сей мысли прояснялся взор ее, розы на щеках освежались, и Лиза улыбалась, как майское утро после бурной ночи. Таким образом прошло около двух месяцев.

В один день Лиза должна была идти в Москву, затем чтобы купить розовой воды, которою мать ее лечила глаза свои. На одной из больших улиц встретилась ей великолепная карета, и в сей карете увидела она Эраста. «Ах!» — закричала Лиза и бросилась к нему, но карета

проехала мимо и поворотила на двор. Эраст вышел и хотел уже идти на крыльцо огромного дома, как вдруг почувствовал себя в Лизиных объятиях. Он побледнел — потом, не отвечая ни слова на ее восклицания, взял ее за руку, привел в свой кабинет, запер дверь и сказал ей: «Лиза! Обстоятельства переменились; я помолвил жениться; ты должна оставить меня в покое и для собственного своего спокойствия забыть меня. Я любил тебя и теперь люблю, то есть желаю тебе всякого добра. Вот сто рублей — возьми их, — он положил ей деньги в карман, — позволь мне поцеловать тебя в последний раз — и поди домой». Прежде нежели Лиза могла опомниться, он вывел ее из кабинета и сказал слуге: «Проводи эту девушку со двора».

Сердце мое обливается кровью в сию минуту. Я забываю человека в Эрасте — готов проклинать его — но язык мой не движется — смотрю на него, и слеза катится по лицу моему. Ах! Для чего пишу не роман, а печальную быль!

Итак, Эраст обманул Лизу, сказав ей, что он едет в армию? Нет, он в самом деле был в армии, но, вместо того чтобы сражаться с неприятелем, играл в карты и проиграл почти все свое имение. Скоро заключили мир, и Эраст возвратился в Москву, отягченный долгами. Ему оставался один способ поправить свои обстоятельства — жениться на пожилой богатой вдове, которая давно была влюблена в него. Он решился на то и переехал жить к ней в дом, посвятив искренний вздох Лизе своей. Но все сие может ли оправдать его?

Лиза очутилась на улице, и в таком положении, которого никакое перо описать не может. «Он, он выгнал меня? Он любит другую? Я погибла!» — вот ее мысли, ее чувства! Жестокий обморок перервал их на время. Одна добрая женщина, которая шла по улице, остановилась над Лизою, лежавшею на земле, и старалась привести ее в память. Несчастная открыла глаза — встала с помощию сей доброй женщины, — благодарила ее и пошла, сама не зная куда. «Мне нельзя жить, — думала Лиза, — нельзя!.. О, если бы упало на меня небо! Если бы земля поглотила бедную!.. Нет! Небо не падает; земля

не колеблется! Горе мне!» Она вышла из города и вдруг увидела себя на берегу глубокого пруда, под тенью древних дубов, которые за несколько недель перед тем были безмолвными свидетелями ее восторгов. Сие воспоминание потрясло ее душу; страшнейшее сердечное мучение изобразилось на лице ее. Но через несколько минут погрузилась она в некоторую задумчивость — осмотрелась вокруг себя, увидела дочь своего соседа (пятнадцатилетнюю девушку), идущую по дороге, — кликнула ее, вынула из кармана десять империалов и, подавая ей, сказала: «Любезная Анюта, любезная подружка! Отнеси эти деньги к матушке — они не краденые — скажи ей, что Лиза против нее виновата, что я таила от нее любовь свою к одному жестокому человеку, — к Э... На что знать его имя? — Скажи, что он изменил мне, — попроси, чтобы она меня простила, — Бог будет ее помощником, поцелуй у нее руку так, как я теперь твою целую, скажи, что бедная Лиза велела поцеловать ее, — скажи, что я...» Тут она бросилась в воду. Анюта закричала, заплакала, но не могла спасти ее, побежала в деревню — собрались люди и вытащили Лизу, но она была уже мертвая.

Таким образом скончала жизнь свою прекрасная душою и телом. Когда мы *там* в новой жизни увидимся, я узнаю тебя, нежная Лиза!

Ее погребли близ пруда, под мрачным дубом, и поставили деревянный крест на ее могиле. Тут часто сижу в задумчивости, опершись на вместилище Лизина праха; в глазах моих струится пруд; надо мною шумят листья.

Лизина мать услышала о страшной смерти дочери своей, и кровь ее от ужаса охладела — глаза навек закрылись. Хижина опустела. В ней воет ветер, и суеверные поселяне, слыша по ночам сей шум, говорят: «Там стонет мертвец; там стонет бедная Лиза!»

Эраст был до конца жизни своей несчастлив. Узнав о судьбе Лизиной, он не мог утешиться и почитал себя убийцею. Я познакомился с ним за год до его смерти. Он сам рассказал мне сию историю и привел меня к Лизиной могиле. Теперь, может быть, они уже примирились!

1792

НАТАЛЬЯ, БОЯРСКАЯ ДОЧЬ

Кто из нас не любит тех времен, когда русские были русскими, когда они в собственное свое платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своим языком и по своему сердцу, то есть говорили, как думали? По крайней мере, я люблю сии времена; люблю на быстрых крыльях воображения летать в их отдаленную мрачность, под сению давно истлевших вязов искать брадатых моих предков, беседовать с ними о приключениях древности, о характере славного народа русского и с нежностью целовать ручки у моих прабабушек, которые не могут насмотреться на своего почтительного правнука, не могут наговориться со мною, надивиться моему разуму, потому что я, рассуждая с ними о старых и новых модах, всегда отдаю преимущество их подкапкам и шубейкам перед нынешними bonnets a la...[1] и всеми галлоалбионскими нарядами, блистающими на московских красавицах в конце осьмого-надесять века. Таким образом (конечно, понятным для всех читателей), старая Русь известна мне более, нежели многим из моих сограждан, и если угрюмая Парка еще несколько лет не перережет жизненной моей нити, то наконец не найду я и места в голове своей для всех анекдотов и повестей, рассказываемых мне жителями прошедших столетий. Чтобы облегчить немного груз моей памяти, намерен я сообщить любезным читателям одну быль или историю, слышанную мною в области теней, в царстве воображения, от бабушки моего дедушки, которая в свое время почиталась весьма красноречивою и почти всякий вечер сказывала сказки царице NN. Только страшусь обезобразить повесть ее; боюсь, чтобы старушка не примчалась на облаке с того света и не наказала меня клюкою своею за худое риторство... Ах нет! Прости безрассудность мою, великодушная тень, — ты неудобна к такому делу! В самой земной жизни своей была ты смирна и незлобна, как юная овечка; рука твоя не умертвила здесь ни комара, ни мушки,

---

[1] Чепчиками в виде... (*фр.*).

и бабочка всегда покойно отдыхала на носу твоем: итак, возможно ли, чтобы теперь, когда ты плаваешь в море неописанного блаженства и дышишь чистейшим эфиром неба, — возможно ли, чтобы рука твоя поднялась на твоего покорного праправнука? Нет! Ты дозволишь ему беспрепятственно упражняться в похвальном ремесле марать бумагу, взводить небылицы на живых и мертвых, испытывать терпение своих читателей и, наконец, подобно вечно зевающему богу Морфею, низвергать их на мягкие диваны и погружать в глубокий сон... Ах! В самую сию минуту вижу необыкновенный свет в темном моем коридоре, вижу огненные круги, которые вертятся с блеском и с треском и, наконец, — о чудо! — являют мне твой образ, образ неописанной красоты, неописанного величества! Очи твои сияют, как солнцы; уста твои алеют, как заря утренняя, как вершины снежных гор при восходе дневного светила, — ты улыбаешься, как юное творение в первый день бытия своего улыбалось, и в восторге слышу я *сладко-гремящие* слова твои: «Продолжай, любезный мой праправнук!» Так, я буду продолжать, буду; и, вооружась пером, мужественно начертаю историю *Натальи, боярской дочери.* Но прежде должно мне отдохнуть; восторг, в который привело меня явление прапрабабушки, утомил душевные мои силы. На несколько минут кладу перо — и сии написанные строки да будут вступлением, или предисловием.

В престольном граде славного русского царства, в Москве белокаменной, жил боярин Матвей Андреев, человек богатый, умный, верный слуга царский и, по обычаю русских, великий хлебосол. Он владел многими поместьями и был не обидчиком, а покровителем и заступником своих бедных соседей, чему в наши просвещенные времена, может быть, не всякий поверит, но что в старину совсем не почиталось редкостию. Царь называл его правым глазом своим, и правый глаз никогда царя не обманывал. Когда ему надлежало разбирать важную тяжбу, он призывал к себе в помощь боярина Матвея, и боярин Матвей, кладя чистую руку на чистое сердце, говорил: «Сей прав (не по такому-то указу, состоявшемуся в таком-то году, но) по моей совести; сей виноват

по моей совести» — и совесть его была всегда согласна с правдою и с совестью царскою. Дело решалось без замедления: правый подымал на небо слезящее око благодарности, указывая рукою на доброго государя и доброго боярина, а виноватый бежал в густые леса сокрыть стыд свой от человеков.

Еще не можем мы умолчать об одном похвальном обыкновении боярина Матвея, обыкновении, которое достойно подражания во всяком веке и во всяком царстве, а именно, в каждый дванадесятый праздник поставлялись длинные столы в его горницах, чистыми скатертьми накрытые, и боярин, сидя на лавке подле высоких ворот своих, звал к себе обедать всех мимоходящих бедных[1] людей, сколько их могло поместиться в жилище боярском; потом, собрав полное число, возвращался в дом и, указав место каждому гостю, садился сам между ними. Тут в одну минуту являлись на столах чаши и блюда, и ароматический пар горячего кушанья, как белое тонкое облако, вился над головами обедающих. Между тем хозяин ласково беседовал с гостями, узнавал их нужды, подавал им хорошие советы, предлагал свои услуги и наконец веселился с ними, как с друзьями. Так в древние патриархальные времена, когда век человеческий был не столь краток, почтенными сединами украшенный старец насыщался земными благами со многочисленным своим семейством — смотрел вокруг себя и, видя на всяком лице, во всяком взоре живое изображение любви и радости, восхищался в душе своей. После обеда все неимущие братья, наполнив вином свои чарки, восклицали в один голос: «Добрый, добрый боярин и отец наш! Мы пьем за твое здоровье! Сколько капель в наших чарках, столько лет живи благополучно!» Они пили, и благодарные слезы их капали на белую скатерть.

Таков был боярин Матвей, верный слуга царский, верный друг человечества. Уже минуло ему шестьдесят лет, уже кровь медленнее обращалась в жилах его, уже тихое трепетание сердца возвещало наступление жизненного вечера и приближение ночи — но доброму ли бо-

---

[1] В истине сего уверял меня не один старый человек.

яться сего густого непроницаемого мрака, в котором теряются дни человеческие? Ему ли страшиться его тенистого пути, когда с ним доброе сердце его, когда с ним добрые дела его? Он идет вперед бестрепетно, наслаждается последними лучами заходящего светила, обращает покойный взор на прошедшее и с радостным — хотя темным, но не менее того радостным предчувствием заносит ногу в оную неизвестность. Любовь народная, милость царская были наградою добродетелей старого боярина; но венцом его счастия и радостей была любезная Наталья, единственная дочь его. Уже давно оплакал он мать ее, которая заснула вечным сном в его объятиях, но кипарисы супружеской любви покрылись цветами любви родительской — в юной Наталье увидел он новый образ умершей, и вместо горьких слез печали воссияли в глазах его сладкие слезы нежности. Много цветов в поле, в рощах и на лугах зеленых, но нет подобного розе; роза всех прекраснее; много было красавиц в Москве белокаменной, ибо царство русское искони почиталось жилищем красоты и приятностей, но никакая красавица не могла сравняться с Натальею — Наталья была всех прелестнее. Пусть читатель вообразит себе белизну итальянского мрамора и кавказского снега: он все еще не вообразит белизны лица ее — и, представя себе цвет зефировой любовницы, все еще не будет иметь совершенного понятия об алости щек Натальиных. Я боюсь продолжать сравнение, чтобы не наскучить читателю повторением известного, ибо в наше роскошное время весьма истощился магазин пиитических уподоблений красоты и не один писатель с досады кусает перо свое, ища и не находя новых. Довольно знать и того, что самые богомольные старики, видя боярскую дочь у обедни, забывали класть земные поклоны, и самые пристрастные матери отдавали ей преимущество перед своими дочерями. Сократ говорил, что красота телесная бывает всегда изображением душевной. Нам до́лжно поверить Сократу, ибо он был, во-первых, искусным ваятелем (следственно, знал принадлежности красоты телесной), а во-вторых, мудрецом или любителем мудрости (следственно, знал хорошо красоту душевную). По крайней мере наша пре-

лестная Наталья имела прелестную душу, была нежна, как горлица, невинна, как агнец, мила, как май месяц: одним словом, имела все свойства благовоспитанной девушки, хотя русские не читали тогда ни Локка «О воспитании», ни Руссова «Эмиля» — во-первых, для того, что сих авторов еще и на свете не было, а во-вторых, и потому, что худо знали грамоте, — не читали и воспитывали детей своих, как натура воспитывает травки и цветочки, то есть поили и кормили их, оставляя все прочее на произвол судьбы, но сия судьба была к ним милостива и за доверенность, которую имели они к ее всемогуществу, награждала их почти всегда добрыми детьми, утешением и подпорою их старых дней.

Один великий психолог, которого имени я, право, не упомню, сказал, что описание дневных упражнений человека есть вернейшее изображение его сердца. По крайней мере я так думаю и с дозволения моих любезных читателей опишу, как Наталья, боярская дочь, проводила время свое от восхода до заката красного солнца. Лишь только первые лучи сего великолепного светила показывались из-за утреннего облака, изливая на тихую землю жидкое, неосязаемое золото, красавица наша пробуждалась, открывала черные глаза свои и, перекрестившись белою атласною, до нежного локтя обнаженною рукою, вставала, надевала на себя тонкое шелковое платье, камчатную телогрею и с распущенными темно-русыми волосами подходила к круглому окну высокого своего терема, чтобы взглянуть на прекрасную картину оживляемой натуры, — взглянуть на златоглавую Москву, с которой лучезарный день снимал туманный покров ночи и которая, подобно какой-нибудь огромной птице, пробужденной гласом утра, в веянии ветерка стряхивала с себя блестящую росу, — взглянуть на московские окрестности, на мрачную, густую, необозримую Марьину рощу, которая, как сизый, кудрявый дым, терялась от глаз в неизмеримом отдалении и где жили тогда все дикие звери севера, где страшный рев их заглушал мелодии птиц поющих. С другой стороны являлись Натальину взору сверкающие изгибы Москвы-реки, цветущие поля и дымящиеся деревни, откуда с веселыми

песнями выезжали трудолюбивые поселяне на работы свои, — поселяне, которые и по сие время ни в чем не переменились, так же одеваются, так живут и работают, как прежде жили и работали, и среди всех изменений и личин представляют нам еще истинную русскую физиогномию. Наталья смотрела, опершись на окно, и чувствовала в сердце своем тихую радость; не умела красноречиво хвалить натуры, но умела ею наслаждаться; молчала и думала: «Как хороша Москва белокаменная! Как хороши ее окружности!» Но того не думала Наталья, что сама она в утреннем своем наряде была всего прекраснее. Юная кровь, разгоряченная ночными сновидениями, красила нежные щеки ее алейшим румянцем, солнечные лучи играли на белом ее лице и, проницая сквозь черные, пушистые ресницы, сияли в глазах ее светлее, нежели на золоте. Волосы, как темно-кофейный бархат, лежали на плечах и на белой полуоткрытой груди, но скоро прелестная скромность, стыдясь самого солнца, самого ветерка, самых немых стен, закрывала ее полотном тонким. Потом будила она свою няню, верную служанку ее покойной матери. «Вставай, мама! — говорила Наталья. — Скоро заблаговестят к обедне». Мама вставала, одевалась, называла свою барышню раннею птичкою, умывала ее ключевою водой, чесала ее длинные волосы белым костяным гребнем, заплетала их в косу и украшала голову нашей прелестницы жемчужною повязкою. Таким образом снарядившись, дожидались они благовеста и, заперев замком светлицу (чтобы в отсутствие их не закрался в нее какой-нибудь недобрый человек), отправлялись к обедне. «Всякий день?» — спросит читатель. Конечно, — таков был в старину обычай — и разве зимою одна жестокая вьюга, а летом проливной дождь с грозою могли тогда удержать красную девицу от исполнения сей набожной должности. Становясь всегда в уголке трапезы, Наталья молилась Богу с усердием и между тем исподлобья посматривала направо и налево. В старину не было ни клобов, ни маскарадов, куда ныне ездят себя казать и других смотреть; итак, где же, как не в церкви, могла тогда любопытная девушка поглядеть на людей? После обедни Наталья раздавала всегда не-

сколько копеек бедным людям и приходила к своему родителю, с нежною любовию поцеловать его руку. Старец плакал от радости, видя, что дочь его день ото дня становилась лучше и милее, и не знал, как благодарить Бога за такой неоцененный дар, за такое сокровище. Наталья садилась подле него или шить в пяльцах, или плести кружево, или сучить шелк, или низать ожерелье. Нежный родитель хотел смотреть на работу ее, но вместо того смотрел на нее самое и наслаждался безмолвным умилением. Читатель! Знаешь ли ты по собственному опыту родительские чувства? Если нет, то вспомни по крайней мере, как любовались глаза твои пестрою гвоздичкою или беленьким ясмином, тобою посаженным, с каким удовольствием рассматривал ты их краски и тени и сколь радовался мыслию: «Это — мой цветок; я посадил его и вырастил!», вспомни и знай, что отцу еще веселее смотреть на милую дочь и веселее думать: «Она — моя!» После русского сытного обеда боярин Матвей ложился отдыхать, а дочь свою с ее мамою отпускал гулять или в сад, или на большой зеленый луг, где ныне возвышаются *Красные ворота* с трубящею Славою. Наталья рвала цветы, любовалась летающими бабочками, питалась благоуханием трав, возвращалась домой весела и покойна и принималась снова за рукоделье. Наступал вечер — новое гулянье, новое удовольствие; иногда же юные подруги приходили делить с нею часы прохлады и разговаривать о всякой всячине. Сам добрый боярин Матвей бывал их собеседником, если государственные или нужные домашние дела не занимали его времени. Седая борода его не пугала молодых красавиц; он умел забавлять их приятным образом и рассказывал им приключения благочестивого князя Владимира и могучих богатырей российских. Зимою, когда нельзя было гулять ни в саду, ни в поле, Наталья каталась в санях по городу и ездила по вечеринкам, на которые собирались одни девушки, тешиться и веселиться и невинным образом сокращать время. Там мамы и няни выдумывали для своих барышень разные забавы, играли в жмурки, прятались, хоронили золото, пели песни, резвились, не нарушая благопристойности, и смеялись без насмешек, так

что скромная и целомудренная дриада могла бы всегда присутствовать на сих вечеринках. Глубокая полночь разлучала девушек, и прелестная Наталья в объятиях мрака наслаждалась покойным сном, которым всегда юная невинность наслаждается.

Так жила боярская дочь, и семнадцатая весна жизни ее наступила; травка зазеленелась, цветы расцвели в поле, жаворонки запели — и Наталья, сидя поутру в светлице своей под окном, смотрела в сад, где с кусточка на кусточек порхали птички и, нежно лобызаясь своими маленькими носиками, прятались в густоту листьев. Красавица в первый раз заметила, что они летали парами — сидели парами и скрывались парами. Сердце ее как будто бы вздрогнуло — как будто бы какой-нибудь чародей дотронулся до него волшебным жезлом своим! Она вздохнула — вздохнула в другой и в третий раз — посмотрела вокруг себя — увидела, что с нею никого не было, никого, кроме старой няни (которая дремала в углу горницы на красном весеннем солнышке), — опять вздохнула, и вдруг бриллиантовая слеза сверкнула в правом глазе ее, — потом и в левом — и обе выкатились — одна капнула на грудь, а другая остановилась на румяной щеке, в маленькой нежной ямке, которая у милых девушек бывает знаком того, что Купидон целовал их при рождении. Наталья подгорюнилась — чувствовала некоторую грусть, некоторую томность в душе своей; все казалось ей не так, все неловко; она встала и опять села; наконец, разбудив свою маму, сказала ей, что сердце у нее тоскует. Старушка начала крестить милую свою барышню и с некоторыми *набожными оговорками*[1] бранить того человека, который взглянул на прекрасную Наталью нечистым глазом или похвалил ее прелести нечистым языком, не от чистого сердца, не в добрый час, ибо старушка была уверена, что ее сглазили и что внутренняя тоска ее происходит ни от чего другого. Ах, добрая старушка! Хотя ты и долго жила на свете, однако ж многого не знала; не знала, что и как в некоторые лета

---

[1] Например, «Прости Господи» и прочее тому подобное, что можно еще слышать и от нынешних нянюшек.

начинается у нежных дочерей боярских; не знала... Но, может быть, и читатели (если до сей минуты они все еще держат в руках книгу и не засыпают), — может быть, и читатели не знают, что за беда случилась вдруг с нашею героинею, чего она искала глазами в горнице, отчего вздыхала, плакала, грустила. Известно, что до сего времени веселилась она, как вольная пташка, что жизнь ее текла, как прозрачный ручеек стремится по беленьким камешкам между злачных, цветущих бережков; что ж сделалось с нею? Скромная Муза, поведай!.. — — — — С небесного лазоревого свода, а может быть, откуда-нибудь и повыше, слетела, как маленькая птичка колибри, порхала, порхала по чистому весеннему воздуху и влетела в Натальино нежное сердце — *потребность любить, любить, любить!!!* Вот вся загадка; вот причина красавицыной грусти — и если она покажется кому-нибудь из читателей не совсем понятною, то пусть требует он подробнейшего изъяснения от любезнейшей ему осьминадцатилетней девушки.

С сего времени Наталья во многом переменилась — стала не так жива, не так резва — иногда задумывалась, — и хотя по-прежнему гуляла в саду и в поле, хотя по-прежнему проводила вечера с подругами, но не находила ни в чем прежнего удовольствия. Так человек, вышедший из лет детства, видит игрушки, которые составляли забаву его младенчества, — берется за них, хочет играть, но, чувствуя, что они уже не веселят его, оставляет их со вздохом. Красавица наша не умела самой себе дать отчета в своих новых, смешанных, темных чувствах. Воображение представляло ей чудеса. Например, часто казалось ей (не только во сне, но даже и наяву), что перед нею, в мерцании отдаленной зари, носится какой-то образ, прелестный, милый призрак, который манит ее к себе ангельскою улыбкою и потом исчезает в воздухе. «Ах!» — восклицала Наталья, и простертые руки ее медленно опускались к земле. Иногда же воспаленным мыслям ее представлялся огромный храм, в который тысячи людей, мужчин и женщин, спешили с радостными лицами, держа друг друга за руку. Наталья хотела также войти в него, но невидимая рука удержи-

вала ее за одежду, и неизвестный голос говорил ей: «Стой в притворе храма; никто без милого друга не входит в его внутренность». Она не понимала сердечных своих движений, не знала, как толковать сны свои, не разумела, чего желала, но живо чувствовала какой-то недостаток в душе своей и томилась. Так, красавицы! ваша жизнь с некоторых лет не может быть счастлива, если течет она, как уединенная река в пустыне, а без милого пастушка целый свет для вас пустыня, и веселые голоса подруг, веселые голоса птичек кажутся вам печальными отзывами уединенной скуки. Напрасно, обманывая самих себя, хотите вы пустоту души своей наполнить чувствами девической дружбы, напрасно избираете лучшую из подруг своих в предмет нежных побуждений вашего сердца! Нет, красавицы, нет! Сердце ваше желает чего-то другого: оно хочет такого сердца, которое не приближалось бы к нему без сильного трепета, которое вместе с ним составляло бы одно чувство, нежное, страстное, пламенное, — а где найти его, где? Конечно, не в Дафне, конечно, не в Хлое, которые вместе с вами могут только горевать, тайно или явно, — горевать и крушиться, желая и не находя того, чего вы сами ищете и не находите в хладной дружбе, но что найдете — или в противном случае вся жизнь ваша будет беспокойным, тяжелым сном, — найдете в тени миртовой беседки, где сидит теперь в унынии, в тоске милый юноша с светло-голубыми или черными глазами и в печальных песнях жалуется на вашу наружную жестокость. Любезный читатель! Прости мне сие отступление! Не один Стерн был рабом пера своего. Обратимся снова к нашей повести.

Боярин Матвей скоро приметил, что Наталья стала пасмурнее: родительское сердце его потревожилось. Он расспрашивал ее с нежною заботливостию о причине такой перемены и, наконец, заключив, что дочь его неможет, отправил нарочного гонца к столетней тетке своей, которая жила в темноте Муромских лесов, собирала травы и коренья, обходилась более с волками и медведями, нежели с людьми русскими, и прослыла если не чародейкою, то по крайней мере велемудрою старушкою, искусною в лечении всех недугов человеческих. Бо-

ярин Матвей описал ей все признаки Натальиной болезни и просил, чтобы она посредством своего искусства возвратила внучке здравие, а ему, старику, радость и спокойствие. Успех сего посольства остается в неизвестности; впрочем, нет большой нужды и знать его. Теперь должны мы приступить к описанию важнейших приключений.

Время и в старину так же скоро летело, как ныне, и, между тем как наша красавица вздыхала и томилась, год перевернулся на оси своей: зеленые ковры весны и лета покрылись пушистым снегом, грозная царица хлада воссела на ледяной престол свой и дохнула вьюгами на русское царство, то есть зима наступила, и Наталья по своему обыкновению пошла однажды к обедне. Помолившись с усердием, она не нарочно обратила глаза свои к левому крылосу — и что же увидела? Прекрасный молодой человек, в голубом кафтане с золотыми пуговицами, стоял там, как царь среди всех прочих людей, и блестящий проницательный взор его встретился с ее взором. Наталья в одну секунду вся закраснелась, и сердце ее, затрепетав сильно, сказало ей: «Вот он!..» Она потупила глаза свои, но ненадолго; снова взглянула на красавца, снова запылала в лице своем и снова затрепетала в своем сердце. Ей казалось, что любезный призрак, который ночью и днем прельщал ее воображение, был не что иное, как образ сего молодого человека, — и потому она смотрела на него как на своего милого знакомца. Новый свет воссиял в душе ее, как будто бы пробужденной явлением солнца, но еще не пришедшей в себя после многих несвязных и замешанных сновидений, волновавших ее в течение долгой ночи. «Итак, — думала Наталья, — итак, подлинно есть на свете такой милый красавец, такой человек — такой прелестный юноша?.. Какой рост! Какая осанка! Какое белое, румяное лицо! А глаза, глаза у него, как молния; я, робкая, боюсь глядеть на них. Он на меня смотрит, смотрит очень пристально — даже и тогда, когда молится. Конечно, и я знакома ему; может быть, и он, подобно мне, грустил, вздыхал, думал, думал и видел меня, — хоть темно, однако ж видел так, как я видела его в душе моей».

Читатель должен знать, что мысли красных девушек бывают очень быстры, когда в сердце у них начинает ворошиться то, чего они долго не называют именем и что Наталья в сии минуты чувствовала. Обедня показалась ей очень коротка. Няня десять раз дергала ее за камчатную телогрею и десять раз говорила ей: «Пойдем, барышня; все кончилось». Но барышня все еще не трогалась с места, для того что и прекрасный незнакомец стоял как вкопанный подле левого крылоса; они посматривали друг на друга и тихонько вздыхали. Старая мама, по слабости зрения своего, ничего не видала и думала, что Наталья читает про себя молитвы и для того нейдет из церкви. Наконец дьячок загремел ключами: тут красавица опомнилась и, видя, что церковь хотят запирать, пошла к дверям, а за нею молодой человек — она влево, он направо. Наталья раза два обступилась, раза два роняла платок и должна была ворочаться назад; незнакомец оправлял кушак свой, стоял на одном месте, смотрел на красавицу и все еще не надевал бобровой шапки своей, хотя на дворе было холодно.

Наталья пришла домой и ни о чем больше не думала, как о молодом человеке в голубом кафтане с золотыми пуговицами. Она была не печальна, однако ж и не очень весела, подобно такому человеку, который наконец узнал, в чем состоит его блаженство, но имеет еще слабую надежду им насладиться. За обедом она не ела, по обыкновению всех влюбленных, — ибо для чего не сказать нам прямо и просто, что Наталья влюбилась в незнакомца? «В одну минуту? — скажет читатель. — Увидев в первый раз и не слыхав от него ни слова?» Милостивые государи! Я рассказываю, как происходило самое дело, не сомневайтесь в истине; не сомневайтесь в силе того взаимного влечения, которое чувствуют два сердца, друг для друга сотворенные! А кто не верит симпатии, тот поди от нас прочь и не читай нашей истории, которая сообщается только для одних чувствительных душ, имеющих сию сладкую веру!

Когда боярин Матвей после обеда заснул (не на вольтеровских креслах, так, как ныне спят бояре, а на широкой дубовой лавке), — Наталья пошла с нянею в свет-

лицу свою, села под любимым окном, вынула из кармана белый платок, хотела что-то сказать, но раздумала — взглянула на окончины, расписанные морозом, оправила жемчужную повязку на голове своей и потом, смотря себе на колени, тихим и немного дрожащим голосом спросила у няни, каков показался ей молодой человек, бывший у обедни? Старушка не понимала, о ком говорит она. Надлежало изъясниться, но легко ли это для стыдливой девушки? «Я говорю о том, — продолжала Наталья, — о том, который — который был всех лучше». Няня все еще не понимала, и красавица принуждена была сказать, что он стоял подле левого крылоса и вышел из церкви за ними. «Я не приметила его», — холодно отвечала старушка, и Наталья тихонько пожала прекрасными своими плечиками, удивляясь, как можно было его не приметить.

На другой день Наталья пришла всех ранее к обедне и вышла всех позже из церкви, но красавца в голубом кафтане там не было — на третий день также не было, и чувствительная боярская дочь не хотела ни пить, ни есть, перестала спать и насилу ходить могла, однако ж старалась таить внутреннее свое мучение как от родителя, так и от няни. Только по ночам лились слезы ее на мягкое изголовье. «Жестокий, — думала она, — жестокий! Зачем скрываешься от глаз моих, которые тебя всеминутно ищут? Разве ты хочешь безвременной смерти моей? Я умру, умру — и ты не выронишь ни слезки на гробе злосчастной!» Ах! Для чего самая нежнейшая, самая пламеннейшая из страстей родится всегда с горестию, ибо какой влюбленный не вздыхает, какой влюбленный не тоскует в первые дни страсти своей, думая, что его не любят взаимно?

На четвертый день Наталья опять пошла к обедне, несмотря ни на слабость свою, ни на жестокий мороз, ни на то, что боярин Матвей, приметив накануне необыкновенную бледность ее лица, просил ее беречь себя и не выходить со двора в холодное время. Еще никого не было в церкви. Красавица, стоя на своем месте, смотрела на двери. Вошел первый человек — не он! Вошел другой — не он! Третий, четвертый — все не он! Вошел пятый, и

все жилки затрепетали в Наталье — это он, тот красавец, которого образ навсегда в душе ее впечатлелся! От сильного внутреннего волнения она едва не упала и должна была опереться на плечо няни своей. Незнакомец поклонился на все четыре стороны, а ей особливо, и притом гораздо ниже и почтительнее, нежели прочим. Томная бледность изображалась на его лице, но глаза его сияли еще светлее прежнего; он смотрел почти беспрестанно на прелестную Наталью (которая от нежных чувств стала еще прелестнее) и вздыхал так неосторожно, что она приметила движение груди его и, невзирая на свою скромность, угадывала причину. Любовь, надеждою оживляемая, алела в сию минуту на щеках милой нашей красавицы, любовь сияла в ее взорах, любовь билась в ее сердце, любовь подымала руку ее, когда она крестилась. Час обедни был для нее одною блаженною секундою. Все стали выходить из церкви; она вышла после всех, а с нею и молодой человек. Вместо того чтобы идти опять в другую сторону, он пошел уже следом за Натальею, которая поглядывала на него и через правое и через левое плечо свое. Чудное дело! Любовники никогда не могут насмотреться друг на друга, подобно как алчный корыстолюбец не может никогда насытиться золотом. У ворот боярского дому Наталья в последний раз взглянула на красавца и нежным взором сказала ему: «Прости, милый незнакомец!» Калитка хлопнула, и Наталье послышалось, что молодой человек вздохнул; по крайней мере она сама вздохнула. Старушка няня была на сей раз приметливее и, не дождавшись еще ни слова Натальи, начала говорить о незнакомом красавце, который провожал их от церкви. Она хвалила его с великим жаром, доказывала, что он похож на ее покойного сына, не сомневалась в знатном роде его и желала барышне своей такого супруга. Наталья радовалась, краснелась, задумывалась, отвечала: «Да!», «Нет!» — и сама не знала, что отвечала.

На другой, на третий день опять ходили к обедне, видели, кого видеть желали, — возвращались домой и у ворот говорили нежным взором: «Прости!» Но сердце красной девушки есть удивительная вещь: чем оно до-

вольно ныне, тем недовольно завтра — все более и более, и желаниям конца нет. Таким образом, и Наталье показалось уже мало того, чтобы смотреть на прекрасного незнакомца и видеть нежность в глазах его; ей захотелось слышать его голос, взять его за руку, быть поближе к его сердцу и проч. Что делать? Как быть? Такие желания искоренять трудно, а когда они не исполняются, красавице бывает грустно. Наталья опять принялась за слезы. Судьба, судьба! Ужели ты не сжалишься над нею? Ужели захочешь, чтобы светлые глаза ее от слез померкли? Посмотрим, что будет.

Однажды перед вечером, когда боярина Матвея не было дома, Наталья увидела в окно, что калитка их растворилась — вошел человек в голубом кафтане, и работа выпала из рук Натальиных, ибо сей человек был прекрасный незнакомец. «Няня! — сказала она слабым голосом. — Кто это?» Няня посмотрела, улыбнулась и вышла вон.

«Он здесь! Няня усмехнулась, пошла к нему, верно, к нему — ах, Боже мой! Что будет?» — думала Наталья, смотрела в окно и видела, что молодой человек вошел уже в сени. Сердце ее летело к нему навстречу, но робость говорила ей: «Останься!» Красавица повиновалась сему последнему голосу, только с мучительным принуждением, с великою тоскою, ибо всего несноснее противиться влечению сердца. Она вставала, ходила, бралась за то и за другое, и четверть часа показалась ей годом. Наконец дверь растворилась, и скрып ее потряс Натальину душу. Вошла няня — взглянула на барышню, улыбнулась и — не сказала ни слова. Красавица также не начинала говорить и только одним робким взором спрашивала: «Что, няня? Что?» Старушка как будто бы веселилась ее смущением, ее нетерпением — долго молчала и спустя уже несколько минут сказала ей: «Знаешь ли, барышня, что этот молодой человек болен?» — «Болен? Чем?» — спросила Наталья, и цвет в лице ее переменился. «Очень болен, — продолжала няня, — у него так болит сердце, что бедный не может ни пить, ни есть, бледен как полотно и насилу ходит. Ему сказали, что у меня есть лекарство на эту болезнь, и для того он прибрел ко мне, плачет

горькими слезами и просит, чтобы я помогла ему. Поверишь ли, барышня, что у меня слезы на глазах навернулись? Такая жалость!» — «Что же, няня? Дала ли ты ему лекарство?» — «Нет, я велела подождать». — «Подождать? Где?» — «В наших сенях». — «Можно ли? Там превеликий холод; со всех сторон несет, а он болен!» — «Что ж мне делать? Внизу у нас такой чад, что он может угореть до смерти; куда ж его вести, пока изготовлю лекарство? Разве сюда? Разве прикажешь ему войти в терем? Это будет доброе дело, барышня; он человек честный — станет за тебя Богу молиться и никогда не забудет твоей милости. Теперь же батюшки нет дома — сумерки, темно — никто не увидит, и беды никакой нет: ведь только в сказках мужчины бывают страшны для красных девушек! Как думаешь, сударыня?» Наталья (не знаю отчего) дрожала и прерывающимся голосом отвечала ей: «Я думаю... как хочешь... ты лучше моего знаешь». Тут няня отворила дверь — и молодой человек бросился к ногам Натальиным. Красавица ахнула, и глаза ее на минуту закрылись; белые руки повисли, и голова приклонилась к высокой груди. Незнакомец осмелился поцеловать ее руку, в другой, в третий раз — осмелился поцеловать красавицу в розовые губы, в другой, в третий раз, и с таким жаром, что мама испугалась и закричала: «Барин! Барин! Помни уговор!» Наталья открыла черные глаза свои, которые прежде всего встретились с черными глазами незнакомца, ибо они в сию минуту были к ним всего ближе; и в тех и в других изображались пламенные чувства, любовию кипящее сердце. Наталья с трудом могла приподнять голову, чтобы вздохом облегчить грудь свою. Тогда молодой человек начал говорить — не языком романов, но языком истинной чувствительности; сказал простыми, нежными, страстными словами, что он увидел и полюбил ее, полюбил так, что не может быть счастлив и не хочет жить без взаимной ее любви. Красавица молчала; только сердце и взоры говорили — но недоверчивый незнакомец желал еще словесного подтверждения и, стоя на коленях, спросил у нее: «Наталья, прекрасная Наталья! Любишь ли меня? Твой ответ решит судьбу мою: я могу быть счастливейшим челове-

ком на свете, или шумящая Москва-река будет гробом моим». — «Ах, барышня! — сказала жалостливая няня. — Отвечай скорее, что он тебе нравен! Ужели захочешь погубить его душу?» — «Ты мил сердцу моему, — произнесла Наталья нежным голосом, положив руку на плечо его. — Дай Бог, — примолвила она, подняв глаза на небо и обратив их снова на восхищенного незнакомца, — дай Бог, чтоб я была столько же мила тебе!» Они обняли друг друга; казалось, что дыхание их остановилось. Кто видал, как в первый раз целомудренные любовники обнимаются, как в первый раз добродетельная девушка целует милого друга, забывая в первый раз девическую стыдливость, пусть тот и вообразит себе сию картину; я не смею описывать ее, но она была трогательна — сама старая няня, свидетельница такого явления, выронила капли две слез и забыла напомнить любовнику об уговоре, но богиня непорочности присутствовала невидимо в Натальином тереме.

После первых минут немого восторга молодой человек, смотря на красавицу, залился слезами. «Ты плачешь?» — сказала Наталья нежным голосом, приклонив голову свою к его плечу. «Ах! Я должен открыть тебе мое сердце, прелестная Наталья![1] — отвечал он. — Оно еще не совершенно уверено в своем счастии». — «Что же ему надобно?» — спросила Наталья и с нетерпением ожидала ответа. «Обещай, что ты исполнишь мое требование». — «Скажи, скажи, что такое? Исполню, все сделаю, что велишь мне». — «В нынешнюю ночь, когда зайдет месяц, — в то время, как поют первые петухи, — я приеду в санях к вашим воротам, ты должна ко мне выйти и ехать со мною; вот чего от тебя требую!» — «Ехать? В нынешнюю ночь? Куда?» — «Сперва в церковь, где мы обвенчаемся, а потом туда, где я живу». — «Как? Без ведома отца своего? Без его благословения?» — «Без его ведома, без его благословения, или я погиб!» — «Боже мой!.. Сердце у меня замерло. Уехать

---

[1] Читатель догадается, что старинные любовники говорили не совсем так, как здесь говорят они; но тогдашнего языка мы не могли бы теперь и понимать. Надлежало только *некоторым образом* подделаться под древний *колорит*.

тихонько из дому родительского? Что же будет с батюшкою? Он умрет с горя, и на душе моей останется страшный грех. Милый друг! Для чего нам не броситься к ногам его? Он полюбит тебя, благословит и сам отпустит нас в церковь». — «Мы бросимся к ногам его, но через некоторое время. Теперь он не может согласиться на брак наш. Самая жизнь моя будет в опасности, когда меня узнают». — «Когда тебя узнают? Тебя, милого душе моей?.. Боже мой! Как люди злы, если ты говоришь правду! Только я не могу поверить. Скажи мне, как тебя зовут?» — «Алексеем». — «Алексеем? Я всегда любила это имя. Что ж беды, если тебя узнают?» — «Все будет тебе известно, когда ты согласишься сделать меня счастливым. Прелестная, милая Наталья! Время проходит, мне нельзя быть долее с тобою. Чтобы родитель твой, которого я сам люблю и почитаю за добрые дела его, — чтобы родитель твой не сокрушался и не почитал дочери своей погибшею, я напишу к нему письмо и уведомлю, что ты жива и что он может скоро увидеть тебя. Скажи, скажи, чего ты хочешь: жизни моей или смерти?» При сих словах, произнесенных твердым голосом, он встал и смотрел огненными, пламенными глазами на красавицу. «Ты меня спрашиваешь? — сказала она с чувствительностью. — Разве я не обещала тебе повиноваться? С самого младенчества привыкла я любить моего родителя, потому что и он любит меня, очень, очень любит (тут Наталья обтерла платком слезы свои, которые одна за другою капали из глаз ее), — тебя знаю недавно, а люблю еще больше: как это случилось, не знаю». Алексей обнял ее с новым восхищением, снял золотой перстень с руки своей, надел его на руку Наталье, сказал: «Ты моя!» — и скрылся, как молния. Старушка няня проводила его со двора.

Вместе с читателем мы искренне виним Наталью, искренне порицаем ее за то, что она, видев только раза три молодого человека и услышав от него несколько приятных слов, вдруг решилась бежать с ним из родительского дому, не зная куда, — поручить судьбу свою незнакомому человеку, которого, по собственным речам его, можно было счесть подозрительным, — а что всего более — ос-

тавить доброго, чувствительного, нежного отца... Но такова ужасная любовь! Она может сделать преступником самого добродетельнейшего человека! И кто, любив пламенно в жизни своей, не поступил ни в чем против строгой нравственности, тот — счастлив! Счастлив тем, что страсть его не была в противоположности с добродетелью, — иначе последняя признала бы слабость свою и слезы тщетного раскаяния полились бы рекою. Летописи человеческого сердца уверяют нас в сей печальной истине.

Что принадлежит до няни, то молодой человек (после того как он увидел Наталью в церкви) нашел способ переговорить с нею и склонил ее на свою сторону разными пышными обещаниями и подарками. Увы! Люди, а особливо под старость, бывают падки на серебро и золото. Старушка забыла то, что она более сорока лет служила беспорочно и верно в доме боярина Матвея, — забыла и продала себя незнакомцу. Однако ж, по остатку честности, взяла с него слово жениться на прекрасной Наталье и до того времени не употреблять во зло ее любви и невинности.

Наталья, по уходе своего любовника, стояла несколько минут неподвижно; на лице ее видны были знаки сильных душевных движений, но не сомнения, не колеблемости, — ибо она уже решилась! И хотя тихий голос из глубины сердца, как будто бы из отдаленной пещеры, спрашивал ее: «Что ты делаешь, безрассудная?», но другой голос, гораздо сильнейший, в том же самом сердце отвечал за нее: «Люблю!»

Няня возвратилась и старалась успокоить Наталью, говоря ей, что она будет супругою молодого красавца и что жена, по самому закону, должна все оставить и все забыть для мужа своего. «Забыть? — прервала Наталья, вслушавшись в последние слова. — Нет! Я буду помнить моего родителя, буду всякий день об нем молиться. К тому же он сказал, что мы скоро бросимся к ногам батюшкиным, — не так ли, няня?» — «Конечно, барышня! — отвечала старушка. — А что он сказал, то будет». — «Верно, будет!» — сказала Наталья, и лицо ее стало веселее.

Боярин Матвей возвратился домой поздно и, думая, что дочь его уже спит, не зашел к ней в терем. Полночь приближалась — Наталья думала не обо сне, а об милом друге, которому навеки отдала она сердце свое и которого с нетерпением ожидала к себе. Еще месяц сиял на небе — месяц, которым прежде глаза ее всегда веселились, теперь он стал ей неприятен; теперь думала красавица: «Как медленно катишься ты по круглому небу! Зайди скорее, месяц светлой! Он, он приедет за мною, когда ты сокроешься!» Луна опустилась — уже часть ее зашла за круг земной — мрак в воздухе сгустился — петухи запели — месяц исчез, и серебряным кольцом брякнули в боярские ворота. Наталья вздрогнула. «Ах, няня! Беги, беги скорее; он приехал!» Через минуту явился молодой человек, и Наталья бросилась в его объятия. «Вот письмо к твоему родителю», — сказал он, показав бумагу. «Письмо к моему родителю? Ах! Прочти его! Я хочу слышать, что ты написал». Молодой человек развернул бумагу и прочитал следующие строки: «Я люблю милую дочь твою более всего на свете — ты не согласился бы отдать ее за меня — она едет со мною — прости нас! — Любовь всего сильнее — может быть, со временем я буду достоин называться зятем твоим». Наталья взяла письмо и, хотя не умела читать, однако ж смотрела на него, и слезы лились из глаз ее. «Напиши, — сказала она, — напиши еще, что я прошу его не плакать, не крушиться, и что эта бумага мокра от слез моих; напиши, что я не вольна сама в себе и чтобы он или забыл, или простил меня».

Молодой человек вынул из кармана перо и чернильницу — написал, что говорила Наталья, и оставил письмо на столе. Потом красавица, надев лисью шубу свою, помолившись Богу, взяв с собою тот образ, которым благословила ее покойная мать, и подав руку счастливому любовнику, вышла из терема, сошла с высокого крыльца, со двора, — взглянула на родительский дом, обтерла последние слезы, села в сани, прижалась к милому и сказала: «Вези меня куда хочешь!» Кучер ударил по лошадям, и лошади помчались, но вдруг раздался жалобный голос: «Меня покинули, меня, бедную, несчастную!»

Молодой человек оглянулся и увидел бегущую няню, которая оставалась на минуту в светлице, чтобы прибрать некоторые из драгоценных Натальиных вещей и которую наши любовники совсем было забыли. Лошадей удержали, посадили старушку, снова поскакали и через четверть часа выехали из Москвы. На правой стороне дороги, вдали, светился огонек; туда поворотили, и Наталья увидела деревянную низенькую церковь, занесенную снегом. Алексей (читатель не забыл имени молодого человека) — Алексей ввел любовницу свою во внутренность сего ветхого храма, освещенного одною маленькою, слабо горящею лампадою. Там встретил их старый священник, согбенный бременем лет, и дрожащим голосом сказал им: «Я долго ждал вас, любезные дети! внук мой уже заснул». Он разбудил мальчика, в углу церкви спавшего, поставил любовников перед налой и начал их венчать. Мальчик читал, пел, что надобно, с удивлением глядел на жениха и невесту и дрожал при всяком порыве ветра, который шумел в худое окно церкви. Алексей и Наталья молились усердно и, произнося обет свой, смотрели друг на друга с умилением и сладкими слезами. По совершении обряда престарелый священник сказал новобрачным: «Я не знаю и не спрашиваю, кто вы, но именем великого Бога, которого нам и мрак ночи и шум бури проповедует (в сие мгновение страшно зашумел ветер), — именем непостижимого, ужасного для злых, для добрых милосердного, обещаю вам благоденствие в жизни, если вы будете всегда любить друг друга, ибо любовь супружеская есть любовь святая, Божеству приятная, и кто соблюдает ее в чистом сердце — в нечистом же она жить не может, — тот приятен Всевышнему. Грядите с миром и помните слова мои!» Новобрачные приняли благословение от старца, поцеловали руку его, поцеловали друг друга, вышли из церкви и поехали.

Ветер заносил дорогу, но резвые кони летели как молния — ноздри их дымились, пар вился столбом, и пушистый снег от копыт их подымался вверх облаками. Скоро путешественники наши въехали в темноту леса, где совсем не было дороги. Старушка няня дрожала от страха, но прекрасная Наталья, чувствуя подле себя ми-

лого друга, ничего не боялась. Молодой супруг отводил рукою все ветви и сучья, которые грозили уколоть белое лицо супруги его. Он держал ее в своих объятиях, когда сани опускались в глубину сугробов, и жаркими поцелуями удалял холод от нежных роз, которые цвели на устах ее. Около четырех часов ездили они по лесу, пробираясь сквозь ряды высоких дерев. Уже лошади начинали утомляться и с трудом вытаскивали ноги свои из глубин снежных; сани двигались медленно, и наконец Наталья, пожав руку своего любезного, тихим голосом спросила у него: «Скоро ли мы приедем?» Алексей посмотрел вокруг себя, на вершины дерев, и сказал, что жилище его недалеко. В самом деле, через несколько минут выехали они на узкую равнину, где стоял маленький домик, обнесенный высоким забором. Навстречу к ним вышли пять или шесть человек с пуками зажженной лучины и вооруженные длинными ножами, которые висели у них на кушаках.

Старушка няня, видя сие дикое, уединенное жилище посреди непроходимого леса, видя сих вооруженных людей и приметив на лицах их нечто суровое и свирепое, пришла в ужас, сплеснула руками и закричала: «Ахти! Мы погибли! Мы в руках — у разбойников!»

Теперь мог бы я представить страшную картину глазам читателей — прельщенную невинность, обманутую любовь, несчастную красавицу во власти варваров, убийц, женою атамана разбойников, свидетельницею ужасных злодейств и, наконец, после мучительной жизни, издыхающую на эшафоте под секирою правосудия, в глазах несчастного родителя; мог бы представить все сие вероятным, естественным, и чувствительный человек пролил бы слезы горести и скорби — но в таком случае я удалился бы от исторической истины, на которой основано мое повествование. Нет, любезный читатель, нет! На сей раз побереги слезы свои — успокойся — старушка няня ошиблась. — Наталья не у разбойников!

Наталья не у разбойников!.. Но кто же сей таинственный молодой человек, или, говоря языком оссианским, *сын опасности и мрака*, живущий во глубине лесов? Прошу читать далее.

Наталья потревожилась восклицанием няни, схватила Алексея за руку и, смотря ему в глаза с некоторым беспокойством, но с полною доверенностию к любимцу души своей, спросила: «Где мы?» Молодой человек взглянул со гневом на старушку, потом, устремив нежный взор на милую Наталью, отвечал ей с улыбкою: «Ты у добрых людей — не бойся». Наталья успокоилась, ибо тот, кого она любила, велел ей успокоиться!

Вошли в домик, разделенный на две половины. «Здесь живут люди мои, — сказал Алексей, указывая направо, — а здесь — я». В первой горнице висели мечи и бердыши, шишаки и панцири, а в другой стояла высокая кровать, и перед иконою Богоматери горела лампада. Наталья тут же поставила и свой образ, помолилась и, взглянув умильно на Алексея, низехонько поклонилась ему, как хозяину в доме. Молодой супруг снял с красавицы лисью шубу, дыханием своим отогрел ее руки, посадил ее на дубовую лавку, смотрел на прелестную и плакал от радости. Милая Наталья вместе с ним плакала, ибо нежность и счастие имеют также слезы свои...

Красавица забыла любопытство, или, лучше сказать, она совсем не имела его, зная то, что милый душе ее не может быть злым человеком. Ах! Если бы все люди, сколько их было тогда в русском царстве, в один голос сказали Наталье: «Алексей — злодей!», она бы с тихою улыбкою отвечала им: «Нет!.. Сердце мое знает его лучше, нежели вы; сердце мое говорит, что он всех любезнее, всех добрее. Я вас не слушаю».

Но Алексей сам говорить начал. «Любезная Наталья! — сказал он. — Тайна жизни моей должна тебе открыться. Воля Всевышнего соединила нас навеки; ничто уже не может разорвать союза нашего. Супруг не должен ничего скрывать от супруги своей. Итак, знай, что я сын несчастного боярина Любославского». — «Любославского? Возможно ли? Батюшка сказывал мне, что он пропал без вести». — «Его уже нет на свете! Выслушай. Ты не помнишь, но, конечно, слыхала о тех волнениях и бунтах, которые лет за тринадцать перед сим возмущали спокойствие нашего царства. Некоторые из знатнейших

честолюбивых бояр восстали против законной власти юного государя, но скоро гнев божеский наказал мятежников — рассеялись, как прах, многочисленные их сообщники, и кровь главных бунтовщиков пролилась на лобном месте. Родитель мой по некоторому подозрению, но совершенно ложному, взят был под стражу. Он имел неприятелей, злых и коварных; представили доказательства мнимой его измены и согласия с мятежниками; отец мой клялся в своей невинности, но обстоятельства осуждали его, и рука вышнего судии готова была подписать ему смерть... надежда исчезала в душе невинного — один Всевышний мог спасти его — и спас. Верный друг отворил ему дверь темницы — и родитель мой скрылся, взяв с собою самых усерднейших слуг и меня, двенадцатилетнего сына своего. В пределах России не было для нас безопасности, мы удалились в ту страну, где река Свияга вливается в величественную Волгу и где многочисленные народы поклоняются лжепророку Магомету — народы суеверные, но страннолюбивые. Они приняли нас дружески, и мы около десяти лет жили с ними, не имели ни в чем недостатка, но беспрестанно горевали о своем отечестве; сидели на высоком берегу Волги и, смотря на ее волны, несущиеся от стран Российских, проливали жаркие слезы; всякая птица, летевшая с запада[1], казалась нам милее; всякую птицу, на запад летевшую, провожали мы глазами и — вздохами. Между тем отец мой ежегодно посылал в Москву тайного гонца и получал письма от своего друга, которые всегда подавали ему надежду, что невинность наша рано или поздно откроется и что мы с честию можем возвратиться в отечество. Но скорбь иссушила сердце моего родителя, силы его исчезали, и глаза покрывались густым мраком. Без ужаса чувствовал он приближение конца своего — благословил меня — и, сказав: «Бог и друг наш не оставят тебя», умер в моих объятиях. Не буду говорить тебе о горести бедного сироты; несколько месяцев глаза мои не просыхали. Я уведомил друга нашего о моем несчастии; в ответе своем, изъявляя душевную скорбь о кончине

[1] То есть от России.

невинного страдальца, умершего в стране иноплеменных и погребенного в земле нехристианской, сей благодетельный друг звал меня в Россию. «Верстах в сорока от Москвы, — писал он, — в дремучем, непроходимом лесу, построил я уединенный домик, не известный никому, кроме меня и надежных людей моих. Там будешь ты жить до времени в совершенной безопасности. Посланный знает сие место». Я изъявил благодарность мою гостеприимным жителям волжских берегов, простился с зеленою могилою родителя моего, поцеловал и оросил слезою каждый цветочек, каждую травку, на ней растущую, возвратился с верными слугами в пределы России, облобызал отечественную землю — и в густоте темного леса, на узкой равнине, нашел сей пустынный домик, где ты теперь со мною, любезная Наталья. Здесь встретил меня седой старец и сказал дрожащим голосом: «Ты сын боярина Любославского! Господин мой, верный друг его — тот, кто хотел быть вторым отцом твоим и строил для тебя сие жилище, — скончался! Но он помнил о сироте при кончине своей. Здесь найдешь все нужное для жизни; найдешь сокровища: они твои». Я поднял глаза на небо; молчал — и слезы мои катились градом. «Кто будет моим помощником? — думал я. — Моим наставником? Я один в свете!.. Всевышний! Ты, кому поручил меня родитель мой! Не оставь бедного!»

Я поселился в пустыне; видел у себя множество серебра и золота, но нимало им не утешался. Через несколько дней захотелось мне побывать в царственном граде, где никто не мог узнать меня. Старый служитель моего благодетеля указал мне на деревах разные меты, которые вели к большой Московской дороге и которые никому, кроме нас, не могли быть понятны. Я увидел блестящие главы церквей, народное множество, огромные домы, все чудеса великого града, и радостные слезы сверкнули в глазах моих. Златые дни младенчества, дни невинности и забавы, проведенные мною в русской столице, представились моим мыслям как веселое сновидение. Я искал нашего бывшего дому и нашел одни пустые стены, в которых порхали летучие мыши... Хладный ужас разлился по моей внутренности.

Потом я часто бывал в Москве, останавливаясь в одной тихой гостинице и называя себя иногородным купцом, часто видал государя, отца народного, часто слыхал о благодеяниях родителя твоего, когда бояре, собираясь на площади против соборной церкви, рассказывали друг другу все добрые и похвальные дела, украшавшие столицу. Возвращаясь в пустыню, я сражался с дикими зверями, которых мы должны были истреблять для собственной нашей безопасности, но часто, выпуская из рук добычу, упадал на землю и проливал слезы. Везде было мне грустно — в пустом лесу и среди народа. С горестию ходил я по улицам царственного града и, смотря на людей, которые встречались со мною, думал: «Они идут к родным и ближним, их дожидаются, им будут рады — мне идти не к кому, меня никто не дожидается, никто о сироте не думает!» Иногда хотелось мне броситься к ногам государя, уверить его в невинности отца моего, в моей верности к царю благочестивому и поручить его милосердию судьбу мою; но какая-то могущественная невидимая рука не допускала меня исполнить сего намерения.

Пришла мрачная осень, пришла скучная зима; лесное уединение сделалось для меня еще несноснее. Я чаще прежнего стал ездить в город и — увидел тебя, прекрасная Наталья. Ты показалась мне ангелом Божиим... Нет! Говорят, что сияние ангелов ослепляет глаза человеческие и что на них нельзя смотреть долго, а мне хотелось беспрестанно глядеть на тебя. Я видал прежде многих красавиц, дивился их прелестям и часто думал: «Господь Бог не сотворил ничего лучше красных московских девушек», но глаза мои на них смотрели, а сердце молчало и не трогалось — они казались мне *чужими*. Ты же первым взглядом влила какой-то огонь в мое сердце, первым взглядом привлекла к себе душу мою, которая тотчас полюбила тебя, как *родную свою*. Мне хотелось броситься и прижать тебя к моей груди так крепко, чтобы ничто уже не могло разлучить нас. Ты ушла, и мне показалось, что красное солнце закатилось и ночь наступила. Я стоял на улице и не чувствовал снега, который на меня сыпался; наконец я пришел в себя — стал расспрашивать и,

узнав, кто ты, возвратился в свою гостиницу и размышлял о милой дочери боярина Матвея. Батюшка часто говаривал мне о любви, которую почувствовал он к матери моей, увидев ее в первый раз, и которая не давала ему покоя до самого того времени, как их повели в церковь. «Со мною то же делается, — думал я, — и мне нельзя быть ни покойным, ни счастливым без милой Натальи. Но как надеяться? Любимый царский боярин захочет ли выдать дочь свою за такого человека, которого отец почитается преступником? Правда, если бы она полюбила меня... с нею и пустыня лучше Москвы белокаменной. Может быть, ошибаюсь — только мне казалось, что она взглядывала на меня ласково... Но я, верно, ошибаюсь. Как этому быть? Такое счастье не вдруг приходит!» Наступила ночь — и прошла, но глаза мои сном не смыкались. Ты беспрестанно была передо мною или в душе моей — крестилась белою рукою своею и прятала ее под соболью шубейку. На другой день почувствовал я сильную боль в голове и превеликую слабость, которая заставила меня около двух суток пролежать на постели». — «Так! — прервала Наталья. — Так! Я это знала; сердце мое тосковало недаром. Ни на другой, ни на третий день не было тебя у обедни».

«Однако ж и самая болезнь не мешала мне о тебе думать. Один из слуг был в доме твоего родителя, виделся с твоею нянею и уговорил ее прийти ко мне в гостиницу. Я открыл старушке любовь мою, просил, кланялся, уверял в моей благодарности — наконец она согласилась быть мне помощницею. Прочее ты знаешь. Я видел тебя в церкви — иногда льстился быть любимым, примечая в глазах твоих нежную умильность и краску на лице твоем, когда встречались наши взоры, — наконец решился узнать судьбу мою — упал к ногам твоим, и бедный сирота стал счастливейшим человеком в свете. Мог ли я после твоего признания расстаться с тобою? Мог ли жить под другим кровом и всякий час беспокоиться, и всякий час думать: «Жива ли она? Не угрожают ли ей какие опасности? Не тоскует ли ее сердце? Ах! Не сватается ли за прекрасную какой-нибудь жених, богатый и знатный?» Нет, нет! Мне оставалось умереть или жить

с тобою! Священник загородной церкви, который нас венчал, был не подкуплен, а упрошен мною: слезы мои тронули старца.

Теперь известно тебе, кто супруг твой; теперь совершились все мои желания. Грусть, скука! Простите! Для вас уже нет места в уединенном моем домике. Милая Наталья любит меня, милая Наталья со мною! Но я вижу томность в глазах твоих, тебе надобно успокоиться, любезная души моей. Ночь проходит, и скоро утренняя заря покажется на небе».

Алексей поцеловал Натальину руку. Красавица вздохнула. «Ах! Для чего нет с нами батюшки! — сказала она, прижавшись к сердцу супруга. — Когда мы с ним увидимся? Когда он благословит нас? Когда я при нем поцелую тебя, сердечного друга моего?» — «Тот, — отвечал Алексей, — тот милостивый Бог, который дал мне тебя, верно все для нас сделает. Положимся на него: он пошлет нам случай упасть к ногам родителя и принять его благословение».

Сказав сии слова, он встал и вышел в переднюю горницу. Там сидели люди его с нянею, которая (уверившись, что они не разбойники и что длинные ножи служат им только обороною от лесных зверей) перестала бояться, познакомилась с ними и с любопытством старой женщины расспрашивала о молодом их господине, о причине пустыннической жизни его, и проч. и проч. Алексей пошептал на ухо одному человеку, и через минуту никого не осталось в передней; старушку схватили по руки и увели в другую половину. Молодой супруг возвратился к своей любезной — помог ей раздеться — сердца их бились — он взял ее за белую руку... Но скромная муза моя закрывает белым платком лицо свое — ни слова!.. Священный занавес опускается, священный и непроницаемый для глаз любопытных!

А вы, счастливые супруги, блаженствуйте в сердечных восторгах под влиянием звезд небесных, но будьте целомудренны в самых высочайших наслаждениях страсти своей! Невинная стыдливость да живет с вами неразлучно — и нежные цветы удовольствия не завянут никогда на супружеском ложе вашем!

Уже солнце взошло высоко на небе и рассыпало по снегу миллионы блестящих диамантов, но в спальне наших супругов все еще царствовало глубокое молчание. Старушка мама давно встала, раз десять подходила к двери, слушала и ничего не слыхала; наконец вздумала тихонько постучаться и сказала довольно громко: «Пора вставать — пора вставать!» Через несколько минут дверь отперли. Алексей был уже в голубом кафтане своем, но красавица лежала еще на постели и долго не могла взглянуть на старушку, стыдясь — неизвестно чего. Розы на щеках ее немного побледнели, в глазах изображалась томная слабость — но никогда Наталья не была так привлекательна, как в сие утро. Она оделась с помощию своей няни, помолилась Богу со слезами и дожидалась супруга своего, который между тем занимался хозяйством, приказывал готовить обед и прочее, что нужно в домашнем быту. Когда он возвратился к любезной супруге, она с нежностию обняла его и сказала тихим голосом: «Милый друг! Я думаю о батюшке. Ах! Он, верно, тоскует, плачет, сокрушается!.. Мне бы хотелось об нем слышать, хотелось бы знать...» Наталья не договорила, но Алексей понял ее желание и немедленно отправил в Москву человека, чтобы наведаться о боярине Матвее.

Но мы предупредим сего посланного и посмотрим, что делается в царственном граде. Боярин Матвей долго ждал к себе поутру милой своей Натальи и наконец пошел в ее терем. Там все было пусто, все в беспорядке. Он изумился — увидел на столике письмо, развернул его, прочитал — не верил глазам своим — прочитал в другой раз — хотел еще не верить, — но дрожащие ноги его подогнулись, — он упал на землю. Несколько минут продолжалось его беспамятство. Образумившись, приказал он людям вести себя к государю. «Государь! — сказал трепещущий старец. — Государь!..» Он не мог говорить и подал царю Алексеево письмо. Чело благочестивого монарха помрачилось гневом. «Кто сей недостойный соблазнитель? — сказал он. — Но везде найдет его грозная рука правосудия». Сказал, и во все страны русского царства отправились гонцы с повелением искать Наталью и ее похитителя.

Царь утешал боярина, как своего друга. Вздохи и слезы облегчили стесненную грудь несчастного родителя, и чувство гнева в сердце его уступило место нежной горести. «Бог видит, — сказал он, взглянув на небо, — Бог видит, как я любил тебя, неблагодарная, жестокая, милая Наталья!.. Так, государь! Она и теперь мила мне боле всего на свете!.. Кто увез ее из родительского дому? Где она? Что с нею делается?.. Ах! На старости лет моих я побежал бы за нею на край света... Может быть, какой-нибудь злодей обольстил невинную и после бросит, погубит ее... Нет! Дочь моя не могла полюбить злодея!.. Но для чего же не открыться родителю?.. Кто бы он ни был, я обнял бы его как сына. Разве государь меня не жалует? Разве он не стал бы жаловать и зятя моего?.. Не знаю, что думать!.. Но ее нет!.. Я плачу: она не видит слез моих — умру: она не затворит глаз отца, который полагал в ней жизнь и душу свою!.. Правда, без воли Всевышнего ничего не делается; может быть, я заслужил наказание руки Его... Покоряюсь без роптания!.. Об одном прошу тебя, Господи: будь ей отцом милосердным во всякой стране. Пусть умру в горести — лишь бы дочь моя была благополучна!.. Нельзя, чтобы она не любила меня, нельзя... (Тут боярин Матвей взял письмо и снова прочитал его.) Ты плакала; эта бумага мокрая от слез твоих; я буду хранить ее на моем сердце как последний знак любви твоей. Ах! Если ты ко мне возвратишься хотя за час до моей смерти... Но как угодно Всевышнему! Между тем отец твой, сирота на старости, будет отцом несчастных и горестных; обнимая их, как детей своих — как твоих братий, — он скажет им со слезами: — Друзья! Молитесь о Наталье». Так говорил боярин Матвей, и чувствительный царь был тронут до глубины сердца.

Отныне, добрый боярин, жизнь твоя покрывается мраком печали — увы! и самая добродетель не может нас предохранить от горести! Беспрестанно будешь ты думать о милой сердца твоего — вздыхать и сидеть, подгорюнившись, перед широкими воротами своего дому! Никто, никто не принесет тебе вести о прелестной Наталье! Царские гонцы возвратятся, и вздох их будет ответом на вопросы твои. Сядут бедные за столы нищелюбо-

вого боярина, но хлеб его покажется им горек — ибо они увидят скорбь на лице своего благодетеля!

Между тем Алексеев посланный возвратился в пустыню с известием, что боярин Матвей был во дворце царском и что во всей России велено искать его пропавшей дочери. Наталья хотела знать более и спрашивала, что написано было на лице родителя ее, когда он шел из дворца государства, вздыхал ли он, плакал ли, не произносил ли тихонько ее имени? Посланный не мог отвечать ни да, ни нет, ибо он хотя и видел боярина, но смотрел на него не проницательными глазами нежной дочери. «Для чего, — сказала Наталья, — для чего не могу я превратиться в невидимку или маленькую птичку, чтобы слетать в Москву белокаменную, взглянуть на родителя, поцеловать руку его, выронить на нее слезу горячую и возвратиться к милому моему другу?» — «Ах, нет! Я не пустил бы тебя! — отвечал Алексей. — Почему знать, что бы могло с тобою случиться? Нет, мой друг! Я не могу и вздумать о разлуке — а ты можешь!» Наталья почувствовала нежную укоризну и оправдалась перед супругом улыбкою, слезами и поцелуем.

Теперь надлежало бы мне описывать счастие юных супругов и любовников, сокрытых лесным мраком от целого света, но вы, которые наслаждаетесь подобным счастием, скажите, можно ли описать его? Наталья и Алексей, живучи в своем уединении, не видали, как текло или летело время. Часы и минуты, дни и ночи, недели и месяцы сливались в пустыне их, как струи речные, не различимые глазом человеческим. Ах! Удовольствия любви бывают всегда одинаковы, но всегда новы и бесчисленны. Наталья просыпалась и — любила; вставала с постели и — любила; молилась и — любила; что ни думала — все любила и всем наслаждалась. Алексей тоже, и чувства их составляли восхитительную гармонию.

Но читатель не должен думать, чтобы они в уединенной жизни своей только смотрели друг на друга и сидели от утра до вечера, поджав руки, — нет! Наталья принялась за рукоделье, за пяльцы и скоро вышила разными шелками и разными узорами две прекрасные ширинки:

первую для милого супруга, чтобы он утирал ею белое лицо свое, а другую для любезного родителя. «Когда-нибудь мы поедем к нему!» — говорила красавица и тихонько вздыхала. Что принадлежит до Алексея, то он, сидя подле своей супруги, рисовал пером разные ландшафты и картинки — любовался тем, что нравилось Наталье, и старался поправить то, что ей казалось несовершенным. Так, любезный читатель! Алексей умел рисовать, и притом весьма не худо, ибо сама природа выучила его сему искусству. Он видел образ кудрявых дерев в реках прозрачных и вздумал означать тень сию на бумаге; опыт был удачен, и скоро чертежи его сделались верными копиями натуры: не только дерева, но и другие предметы изображались им с величайшею точностию. Красавица смотрела на движение руки его и дивилась, как он мог одними чертами пера своего представлять разные виды: то рощу дубовую, то башни московские, то дворец государев. Но Алексей уже не сражался с дикими зверями, ибо они (как будто бы из уважения к прекрасной Наталье, новой обитательнице их дремучего леса) не приближались к жилищу супругов и ревели только в отдалении. Таким образом прошла зима, снег растаял, реки и ручьи зашумели, земля опушилась травкою, и зеленые пучочки распустились на деревьях. Алексей выбежал из своего домику, сорвал первый цветочек и принес его Наталье. Она улыбнулась, поцеловала своего друга — и в самую сию минуту запели в лесу весенние птички. «Ах, какая радость! Какое веселье! — сказала красавица. — Мой друг! Пойдем гулять!» Они пошли и сели на берегу реки. «Знаешь ли, — сказала Наталья супругу своему, — знаешь ли, что прошедшею весною не могла я без грусти слушать птичек? Теперь мне кажется, будто я их разумею и одно с ними думаю. Посмотри: здесь, на кусточке, поют две птички — кажется, малиновки — посмотри, как они обнимаются крылышками; они любят друг друга так, как я люблю тебя, мой друг, и как ты меня любишь! Не правда ли?» Всякий может вообразить себе ответ Алексеев и разные удовольствия, которые весна принесла с собою для наших пустынников.

Но нежная дочь, наслаждаясь любовию, не забывала и своего родителя. Алексей должен был всякую неделю два или три раза посылать в Москву человека наведываться о боярине Матвее. Вести привозились одинаковые: боярин делал добрые дела, печалился, кормил бедных и говорил им: «Друзья! Помолитесь о Наталье!» Наталья вздыхала и смотрела на образ.

Однажды возвратился посланный с великою поспешностию. «Государь! — сказал он Алексею. — Москва в смятении. Свирепые литовцы восстали на Русское царство. Я видел, как жители престольного града собирались перед дворцом государевым и как боярин Матвей, именем царя православного, ободрял воинов; я видел, как толпы народные бросали вверх шапки свои, восклицая в один голос: «Умрем за царя, — государя! Умрем за отечество или победим литовцев!» Я видел, как русское воинство в ряды становилось, как сверкали его мечи, и бердыши, и копья булатные. Завтра выдет оно в поле под начальством воевод храбрейших». Сердце Алексеево затрепетало, кровь закипела — он схватил со стены меч отца своего — взглянул на супругу — и меч упал на землю — слезы показались в глазах его. Наталья взяла его за руку и не говорила ни слова. «Любезная Наталья! — сказал Алексей по некотором молчании. — Ты желаешь возвратиться в дом к своему родителю?»

Н а т а л ь я. С тобою, мой друг, с тобою! Ах, я не смела говорить тебе; только мне всегда казалось, что мы напрасно скрываемся от батюшки. Увидя нас, он так обрадуется, что все забудет, а я возьму за руку тебя и его, заплачу от радости и скажу: «Вот они; вот те, которых люблю, — теперь я совершенно счастлива!»

А л е к с е й. Но мне надобно заслужить прежде милость царскую. Теперь есть к тому случай.

Н а т а л ь я. Какой же, мой друг?

А л е к с е й. Ехать на войну, сразиться с неприятелями Русского царства и победить. Царь увидит тогда, что Любославские любят его и верно служат своему отечеству.

Н а т а л ь я. Поедем, мой друг! Лишь бы ты был со мною: я всюду готова.

А л е к с е й. Что ты говоришь, милая Наталья? Там летают смертоносные стрелы, там рубятся мечами: как тебе ехать со мною?

Н а т а л ь я. Итак, ты хочешь меня оставить? Хочешь моей смерти? Потому что я не могу жить без тебя. Давно ли, мой друг, давно ли говорил ты, что никогда не покинешь меня? А теперь думаешь ехать один, и еще туда, где летают стрелы? Кто защитит тебя?.. Нет, ты возьмешь меня с собою — или бедная Наталья не мила уже сердцу твоему?

Алексей обнял свою супругу. «Поедем, — сказал он, — поедем и умрем вместе, если так Богу угодно! Только на войне не бывает женщин, милая Наталья!» Красавица подумала, улыбнулась, пошла в спальню и заперла за собою дверь. Через несколько минут вышел оттуда прекрасный отрок... Алексей изумился, но скоро узнал в сем юном красавце любезную дочь боярина Матвея и бросился целовать. Наталья оделась в платье своего супруга, которое носил он будучи тринадцати или четырнадцати лет. «Я меньшой брат твой, — сказала она с усмешкою, — теперь дай мне только меч острый и копье булатное, шишак, панцирь и щит железный — увидишь, что я не хуже мужчины». Алексей не мог нарадоваться своим милым героем, выбрал ему самое легкое оружие, нарядил его в панцирь, сделанный из медных колец (на которых было подписано: «С нами Бог: никто же на ны![1]»), вооружил людей своих, готовых умереть за любезного господина, надел латы покойного отца своего — и через несколько часов в пустынном домике осталась одна Натальина мама с двумя стариками.

А мы оставим на несколько времени супругов наших, в надежде, что Небо не оставит их и будет им защитою в опасностях там, где летают смертоносные стрелы, где мечи сверкают, как молнии, где копья трещат и ломаются, где кровь человеческая льется реками, где герои умирают за свое отечество и делаются бессмертными.

---

[1] В Оружейной московской палате я видел много панцирей с сею надписью.

Возвратимся в Москву — там началась наша история, там должно ей и кончиться.

Увы! Какая пустота в столице российской! Все тихо, все печально. На улицах не видно никого, кроме слабых старцев и женщин, которые с унылыми лицами идут в церковь молить Бога, чтобы от отвратил грозную тучу от Русского царства, даровал победу православным воинам и рассеял сонмы литовские. Добросердечный, чувствительный царь стоит на высоком крыльце своем и с нетерпением ожидает вести от начальников воинства, пошедшего навстречу врагам многочисленным. Боярин Матвей неразлучен с царем благочестивым. «Государь! — говорит он. — Надейся на Бога и на храбрость своих подданных, храбрость, которая отличает их от всех иных народов. Страшно разят мечи российские; тверда, подобно камню, грудь сынов твоих — победа будет всегда верною их подругою». Так говорил боярин; думал о благе отечества — и тосковал о своей дочери.

В поту, в пыли прискакал вестник — царь встречает его на половине крыльца и дрожащею рукою развертывает письмо военачальников... Первое слово есть «победа»! «Победа!» — восклицает он в радости. — «Победа!» — восклицают бояре. — «Победа!» — народ повторяет — и во всем царственном граде раздавался один голос: «Победа!», и во всех сердцах было одно чувство: *радость!*

Начальники доносили государю обо всем с величайшею подробностию. Сражение было самое жестокое. Уже первый ряд русского воинства, теснимый бесчисленным множеством литовцев, начинал колебаться и хотел уступить врагу сильнейшему; но вдруг, как гром, загремел голос: «Умрем или победим!», и в то же мгновение от рядов российских отделился молодой воин и с мечом в руке бросился на неприятелей; за ним бросились и другие; все воинство двинулось и, восклицая: «Умрем или победим!», устремилось, как буря, на литовцев, которые, невзирая на великое число свое, скоро побежали и рассеялись. «Мы не можем, — писали начальники, — восхвалить по достоинству того юного воина, которому принадлежит вся честь победы и который гнал, разил не-

приятеля и собственною рукою пленил их предводителя. Повсюду следовал за ним брат его, прекрасный отрок, и закрывал его щитом своим. Он не хочет объявить имени своего никому, кроме тебя, государя. Побежденные литовцы спешат из пределов России, и скоро воинство твое возвратится со славою во град Москву. Мы сами представим царю непобедимого юношу, спасителя отечества и достойного всей твоей милости».

Царь с нетерпением ожидал своих героев и выехал встретить их в поле, вместе с боярином Матвеем и с другими чиновниками. В Москве никого не осталось; слабые старцы, забыв слабость, спешили за город навстречу к своим детям; супруги и матери, неся младенцев или ведя их за руки, спешили туда же. Первый ряд воинства показался — второй и третий; разноцветные знамена веяли над оными: воины шли с обнаженными мечами, ровным шагом, назади ехали конные — впереди начальники, под сению трофеев. Увидели государя и восклицания: «Победа и здравие царю российскому!» — загремели в воздухе. Воеводы упали перед ним на колена. Он поднял их и сказал с улыбкою милости: «Благодарю вас именем отечества». — «Государь! — отвечали они. — Мы старались исполнить должность свою! Но Бог даровал нам победу рукою сего юного воина». Тут юный воин, стоявший подле них с потупленным взором, преклонил колено. «Кто ты, храбрый юноша? — спросил государь, простирая к нему правую руку свою. — Имя твое должно быть славно в пределах русского царства». — «Государь! — отвечал юноша. — Сын осужденного боярина Любославского, скончавшего дни свои в стране иноверных, приносит тебе свою голову». Царь поднял глаза на небо. «Благодарю тебя, Боже, — сказал он, — что ты посылаешь мне случай хотя отчасти загладить неправосудие и злобу людей и за страдание невинного отца наградить достойного сына! Так, храбрый юноша! Невинность родителя твоего открылась — к несчастию, поздно! Увы! Я был тогда незрелым отроком, и боярин Матвей еще не имел места в совете моем. Злые бояре оклеветали Любославского; один из них, кончая недавно жизнь свою, признался в несправедливости доносов, по кото-

рым судили невинного. Видишь слезы мои. Будь же другом царя своего, первым по боярине Матвее!» — «Итак, память отца моего, — сказал Алексей, — чиста от поношения!.. Но я — я винен перед тобою, государь великий! Я увез дочь боярина Матвея из родительского дому!» Царь удивился. «Где же она?» — спросил он с нетерпением. Но боярин уже нашел дочь свою: прекрасная Наталья, в одежде воина, бросилась в его объятия; шишак спал с головы ее, и русые волосы по плечам рассыпались. Изумленный, восхищенный родитель не смел верить сему явлению, но сердце чувствительного старца сильным трепетом своим уверяло его, что милая нашлася. Едва мог он перенести радость свою и упал бы на землю, если бы другие бояре не поддержали его. Долго не говорил он ни слова, опустив голову на плечо Наталье, наконец назвал ее именем, как будто бы желая видеть, откликнется ли она, — назвал ее своею милою, прекрасною, — и при каждом ласковом слове сиял новый луч радости на лице его, которое так долго было печальным! Казалось, будто язык его учился произносить давно забытые имена: столь медленно он их выговаривал! И повторял столь часто! Наталья целовала его руки. «Ты меня так же любишь! — говорила она. — Так же любишь!» И теплые ручьи слез договаривали за нее прочее. Все воинство пребывало в тишине и в молчании. Государь был тронут сердечно, взял Алексея за руку и подвел его к боярину. «Вот, — сказала Наталья, — вот — супруг мой! Прости его, родитель мой, и люби так, как меня любишь!» Боярин Матвей поднял голову, посмотрел на Алексея и подал ему дрожащую руку свою. Молодой человек хотел броситься перед ним на колени, но старец прижал его к своему сердцу вместе с милою дочерью...

Ц а р ь. Они достойны друг друга и будут твоим утешением в старости.

«Она дочь моя, — сказал боярин Матвей прерывающимся голосом, — он сын мой... Господи! Дай мне умереть в их объятиях!»

Старец снова прижал их к своему сердцу.

...Читатель вообразит себе все последующее. Старушку няню привезли в город, боярин Матвей простил ее и, призвав к себе того священника, который венчал Алексея и Наталью, хотел, чтобы он снова благословил их в его присутствии. Супруги жили счастливо и пользовались особенною царскою милостию. Алексей оказал важные услуги отечеству и государю, услуги, о которых упоминается в разных исторических рукописях. Благодетельный боярин Матвей дожил до самой глубокой старости и веселился своею дочерью, своим зятем и прекрасными детьми их. Смерть явилась ему в виде юнейшего и любезнейшего внука его, он хотел обнять милого отрока — и скончался. Больше я ничего не слыхал от бабушки моего дедушки, но за несколько лет перед сим, прогуливаясь осенью по берегу Москвы-реки, близ темной сосновой рощи, нашел надгробный камень, заросший зеленым мохом и разломанный рукою времени, — с великим трудом мог я прочитать на нем следующую надпись: «Здесь погребен Алексей Любославский с своею супругою». Старые люди сказывали мне, что на сем месте была некогда церковь — вероятно, самая та, где венчались наши любовники и где они захотели лежать и по смерти своей.

1792

ОСТРОВ БОРНГОЛЬМ

Друзья! прошло красное лето, златая осень побледнела, зелень увяла, дерева стоят без плодов и без листьев, туманное небо волнуется, как мрачное море, зимний пух сыплется на хладную землю — простимся с природою до радостного весеннего свидания, укроемся от вьюг и метелей — укроемся в тихом кабинете своем! Время не должно тяготить нас: мы знаем лекарство от скуки. Друзья! Дуб и береза пылают в камине нашем — пусть свирепствует ветер и засыпает окна белом снегом! Сядем вокруг алого огня и будем рассказывать друг другу сказки, и повести, и всякие были.

Вы знаете, что я странствовал в чужих землях, да-

леко, далеко от моего отечества, далеко от вас, любезных моему сердцу, видел много чудного, слышал много удивительного, многое вам рассказывал, но не мог рассказать всего, что случалось со мною. Слушайте — я повествую — повествую истину, не выдумку.

Англия была крайним пределом моего путешествия. Там сказал я самому себе: «Отечество и друзья ожидают тебя; время успокоиться в их объятиях, время посвятить страннический жезл твой сыну Маину[1], время повесить его на густейшую ветвь того дерева, под которым играл ты в юных летах своих», — сказал и сел в Лондоне на корабль «Британию», чтобы плыть к любезным странам России.

Быстро катились мы на белых парусах вдоль цветущих берегов величественной Темзы. Уже беспредельное море засинелось перед нами, уже слышали мы шум его волнения — но вдруг переменился ветер, и корабль наш, в ожидании благоприятнейшего времени, должен был остановиться против местечка Гревзенда.

Вместе с капитаном вышел я на берег, гулял с покойным сердцем по зеленым лугам, украшенным природою и трудолюбием, — местам редким и живописным; наконец, утомленный жаром солнечным, лег на траву, под столетним вязом, близ морского берега, и смотрел на влажное пространство, на пенистые валы, которые в бесчисленных рядах из мрачной отдаленности неслися к острову с глухим ревом. Сей унылый шум и вид необозримых вод начинали склонять меня к той дремоте, к тому сладостному бездействию души, в котором все идеи и все чувства останавливаются и цепенеют, подобно вдруг замерзающим ключевым струям, и которое есть самый разительнейший и самый пиитический образ смерти; но вдруг ветви потряслись над моею головою... Я взглянул и увидел — молодого человека, худого, бледного, томного, — более привидение, нежели человека. В одной руке держал он гитару, другою срывал листочки с дерева и смотрел на синее море неподвижными черны-

---

[1] Во время древности странники, возвращаясь в отечество, посвящали жезлы свои Меркурию.

ми глазами своими, в которых сиял последний луч угасающей жизни. Взор мой не мог встретиться с его взором: чувства его были мертвы для внешних предметов; он стоял в двух шагах от меня, но не видал ничего, не слыхал ничего. — «Несчастный молодой человек! — думал я. — Ты убит роком. Не знаю ни имени, ни рода твоего; но знаю, что ты несчастлив!»

Он вздохнул, поднял глаза к небу, опустил их опять на волны морские — отошел от дерева, сел на траву, заиграл на своей гитаре печальную прелюдию, смотря беспрестанно на море, и запел тихим голосом следующую песню (на датском языке, которому учил меня в Женеве приятель мой, доктор NN):

Законы осуждают
Предмет моей любви;
Но кто, о сердце! может
Противиться тебе?
Какой закон святее
Твоих врожденных чувств?
Какая власть сильнее
Любви и красоты?

Люблю — любить ввек буду.
Кляните страсть мою,
Безжалостные души,
Жестокие сердца!

Священная природа!
Твой нежный друг и сын
Невинен пред тобою.
Ты сердце мне дала;

Твои дары благие
Украсили ее —
Природа! Ты хотела,
Чтоб Лилу я любил!

Твой гром гремел над нами,
Но нас не поражал,
Когда мы наслаждались
В объятиях любви. —

О Борнгольм, милый Борнгольм!
К тебе душа моя
Стремится беспрестанно;
Но тщетно слезы лью,

Томлюся и вздыхаю!
Навек я удален
Родительскою клятвой
От берегов твоих!

Еще ли ты, о Лила!
Живешь в тоске своей?
Или в волнах шумящих
Скончала злую жизнь?

Явися мне, явися,
Любезнейшая тень!
Я сам в волнах шумящих
С тобою погребусь.

Тут, по невольному внутреннему движению, хотел я броситься к незнакомцу и прижать его к сердцу своему, но капитан мой в самую сию минуту взял меня за руку и сказал, что благоприятный ветер развевает наши парусы и что нам не должно терять времени. — Мы поплыли. Молодой человек, бросив гитару и сложив руки, смотрел вслед за нами — смотрел на синее море.

Волны пенились под рулем корабля нашего, берег гревзендский скрылся в отдалении, северные провинции Англии чернелись на другом краю горизонта — наконец все исчезло, и птицы, которые долго вились над нами, полетели назад к берегу, как будто бы устрашенные необозримостию моря. Волнение шумных вод и туманное небо остались единственным предметом глаз наших, предметом величественным и страшным. — Друзья мои! Чтобы живо чувствовать всю дерзость человеческого духа, надобно быть на открытом море, где *одна тонкая дощечка*, как говорит Виланд, *отделяет нас от влажной смерти*, но где искусный пловец, распуская парусы, летит и в мыслях своих видит уже блеск золота, которым в другой части мира наградится смелая его предприимчивость. «Nil mortalibus arduum est» — «Нет для смерт-

ных невозможного», — думал я с Горацием, теряясь взором в бесконечности Нептунова царства.

Но скоро жестокий припадок морской болезни лишил меня чувства. Шесть дней глаза мои не открывались, и томное сердце, орошаемое пеною бурных волн[1], едва билось в груди моей. В седьмой день я ожил и хотя с бледным, но радостным лицом вышел на палубу. Солнце по чистому лазоревому своду катилось уже к западу, море, освещаемое златыми его лучами, шумело, корабль летел на всех парусах по грудам рассекаемых валов, которые тщетно силились опередить его. Вокруг нас, в разном отдалении, развевались белые, голубые и розовые флаги, а на правой стороне чернелось нечто подобное земле.

«Где мы?» — спросил я у капитана. — «Плавание наше благополучно, — сказал он, — мы прошли Зунд; берега Швеции скрылись от глаз наших. На правой стороне видите вы датский остров Борнгольм, место опасное для кораблей; там мели и камни таятся на дне морском. Когда наступит ночь, мы бросим якорь».

«Остров Борнгольм, остров Борнгольм!» — повторил я в мыслях, и образ молодого гревзендского незнакомца оживился в душе моей. Печальные звуки и слова песни его отозвались в моем слухе. «Они заключают в себе тайну сердца его, — думал я, — но кто он? Какие законы осуждают любовь несчастного? Какая клятва удалила его от берегов Борнгольма, столь ему милого? Узнаю ли когда-нибудь его историю?»

Между тем сильный ветер нес нас прямо к острову. Уже открылись грозные скалы его, откуда с шумом и пеною свергались кипящие ручьи во глубину морскую. Он казался со всех сторон неприступным, со всех сторон огражденным рукою величественной натуры; ничего, кроме страшного, не представлялось на седых утесах. С ужасом видел я там образ хладной, безмолвной вечности, образ неумолимой смерти и того неописанного творческого могущества, перед которым все смертное трепетать должно.

---

[1] В самом деле, пена волн часто орошала меня, лежащего почти без памяти на палубе.

Солнце погрузилось в волны — и мы бросили якорь. Ветер утих, и море едва-едва колебалось. Я смотрел на остров, который неизъяснимою силою влек меня к берегам своим; темное предчувствие говорило мне: «Там можешь удовлетворить своему любопытству, и Борнгольм останется навеки в твоей памяти!» — Наконец, узнав, что недалеко от берега есть рыбачьи хижины, решился я просить у капитана шлюпки и ехать на остров с двумя или тремя матрозами. Он говорил об опасности, о подводных камнях, но, видя непреклонность своего пассажира, согласился исполнить мое требование с тем условием, чтобы я на другой день рано поутру на корабль возвратился.

Мы поплыли и благополучно пристали к берегу в небольшом тихом заливе. Тут встретили нас рыбаки, люди грубые и дикие, выросшие на хладной стихии, под шумом валов морских и незнакомые с улыбкою дружелюбного приветствия; впрочем, не хитрые и не злые люди. Услышав, что мы желаем посмотреть острова и ночевать в их хижинах, они привязали нашу лодку и повели нас, сквозь распавшуюся кремнистую гору, к своим жилищам. Через полчаса вышли мы на пространную зеленую равнину, где, подобно как на долинах альпийских, рассеяны были низенькие деревянные домики, рощицы и громады камней. Тут оставил я своих матрозов, а сам пошел далее, чтобы наслаждаться еще несколько времени приятностями вечера; мальчик лет тринадцати был проводником моим.

Алая заря не угасла еще на светлом небе, розовый свет ее сыпался на белые граниты и вдали, за высоким холмом, освещал острые башни древнего замка. Мальчик не мог сказать мне, кому принадлежал сей замок. «Мы туда не ходим, — говорил он, — и Бог знает, что там делается!» — Я удвоил шаги свои и скоро приблизился к большому готическому зданию, окруженному глубоким рвом и высокою стеною. Везде царствовала тишина, вдали шумело море, последний луч вечернего света угасал на медных шпицах башен.

Я обошел вокруг замка — ворота были заперты, мосты подняты. Проводник мой боялся, сам не зная чего,

и просил меня идти назад к хижинам, но мог ли любопытный человек уважить такую просьбу?

Наступила ночь, и вдруг раздался голос — эхо повторило его, и опять все умолкло. Мальчик от страха схватил меня обеими руками и дрожал, как преступник в час казни. Через минуту снова раздался голос — спрашивали: «Кто там?» — «Чужеземец, — сказал я, — приведенный любопытством на сей остров, и если гостеприимство почитается добродетелию в стенах вашего замка, то вы укроете странника на темное время ночи». — Ответа не было, но через несколько минут загремел и опустился с верху башни подъемный мост, с шумом отворились ворота — высокий человек, в длинном черном платье, встретил меня, взял за руку и повел в замок. Я оборотился назад, но мальчик, провожатый мой, скрылся.

Ворота хлопнули за нами, мост загремел и поднялся. Через обширный двор, заросший кустарником, крапивою и полынью, пришли мы к огромному дому, в котором светился огонь. Высокий перистиль в древнем вкусе вел к железному крыльцу, которого ступени звучали под ногами нашими. Везде было мрачно и пусто. В первой зале, окруженной внутри готическою колоннадою, висела лампада и едва-едва изливала бледный свет на ряды позлащенных столпов, которые от древности начинали разрушаться; в одном месте лежали части карниза, в другом отломки пиластров, в третьем целые упавшие колонны. Путеводитель мой несколько раз взглядывал на меня проницательными глазами, но не говорил ни слова.

Все сие сделало в сердце моем странное впечатление, смешанное отчасти с ужасом, отчасти с тайным неизъяснимым удовольствием или, лучше сказать, с приятным ожиданием чего-то чрезвычайного.

Мы прошли еще через две или три залы, подобные первой и освещенные такими же лампадами. Потом отворилась дверь направо — в углу небольшой комнаты сидел почтенный седовласый старец, облокотившись на стол, где горели две белые восковые свечи. Он поднял голову, взглянул на меня с какою-то печальною ласкою,

подал мне слабую свою руку и сказал тихим, приятным голосом: «Хотя вечная горесть обитает в стенах здешнего замка, но странник, требующий гостеприимства, всегда найдет в нем мирное пристанище. Чужеземец! Я не знаю тебя, но ты человек — в умирающем сердце моем жива еще любовь к людям — мой дом, мои объятия тебе отверсты». — Он обнял, посадил меня и, стараясь развеселить мрачный вид свой, уподоблялся хотя ясному, но хладному осеннему дню, который напоминает более горестную зиму, нежели радостное лето. Ему хотелось быть приветливым, — хотелось улыбкою вселить в меня доверенность и приятные чувства дружелюбия, но знаки сердечной печали, углубившиеся на лице его, не могли исчезнуть в одну минуту.

«Ты должен, молодой человек, — сказал он, — ты должен известить меня о происшествиях света, мною оставленного, но еще не совсем забытого. Давно живу я в уединении, давно не слышу ничего о судьбе людей. Скажи мне, царствует ли любовь на земном шаре? Курится ли фимиам на олтарях добродетели? Благоденствуют ли народы в странах, тобою виденных?» — «Свет наук, — отвечал я, — распространяется более и более, но еще струится на земле кровь человеческая — льются слезы несчастных — хвалят имя добродетели и спорят о существе ее». — Старец вздохнул и пожал плечами.

Узнав, что я россиянин, сказал он: «Мы происходим от одного народа с вашим. Древние жители островов Рюгена и Борнгольма были славяне. Но вы прежде нас озарились светом христианства. Уже великолепные храмы, единому Богу посвященные, возносились к облакам в странах ваших, но мы, во мраке идолопоклонства, приносили кровавые жертвы бесчувственным истуканам. Уже в торжественных гимнах славили вы великого Творца вселенной, но мы, ослепленные заблуждением, хвалили в нестройных песнях идолов баснословия». — Старец говорил со мною об истории северных народов, о происшествиях древности и новых времен, говорил так, что я должен был удивляться уму его, знаниям и даже красноречию.

Через полчаса он встал и пожелал мне доброй ночи.

Слуга в черном платье, взяв со стола одну свечу, повел меня через длинные узкие переходы — и мы вошли в большую комнату, обвешанную древним оружием, мечами, копьями, латами и шишаками. В углу, под золотым балдахином, стояла высокая кровать, украшенная резьбой и древними барельефами.

Мне хотелось предложить множество вопросов сему человеку, но он, не дожидаясь их, поклонился и ушел; железная дверь хлопнула — звук страшно раздался в пустых стенах — и все утихло. Я лег на постелю — смотрел на древнее оружие, освещаемое сквозь маленькое окно слабым лучом месяца, — думал о своем хозяине, о первых словах его: «Здесь обитает вечная горесть», — мечтал о временах прошедших, о тех приключениях, которым сей древний замок бывал свидетелем, — мечтал, подобно такому человеку, который между гробов и могил взирает на прах умерших и оживляет его в своем воображении. — Наконец образ печального гревзендского незнакомца представился душе моей, и я заснул.

Но сон мой не был покоен. Мне казалось, что все латы, висевшие на стене, превратились в рыцарей, что сии рыцари приближались ко мне с обнаженными мечами и с гневным лицом говорили: «Несчастный! Как дерзнул ты пристать к нашему острову? Разве не бледнеют плаватели при виде гранитных берегов его? Как дерзнул ты войти в страшное святилище замка? Разве ужас его не гремит во всех окрестностях? Разве странник не удаляется от грозных его башен? Дерзкий! Умри за сие пагубное любопытство!» — Мечи застучали надо мною, удары сыпались на грудь мою, — но вдруг все скрылось, — я пробудился и через минуту опять заснул. Тут новая мечта возмутила дух мой. Мне казалось, что страшный гром раздавался в замке, железные двери стучали, окна тряслися, пол колебался, и ужасное крылатое чудовище, которое описать не умею, с ревом и свистом летело к моей постели. Сновидение исчезло, но я не мог уже спать, чувствовал нужду в свежем воздухе, приблизился к окну, увидел подле него маленькую дверь, отворил ее и по крутой лестнице сошел в сад.

Ночь была ясная, свет полной луны осребрял темную

зелень на древних дубах и вязах, которые составляли густую, длинную аллею. Шум морских волн соединялся с шумом листьев, потрясаемых ветром. Вдали белелись каменные горы, которые, подобно зубчатой стене, окружают остров Борнгольм; между ими и стенами замка виден был с одной стороны большой лес, а с другой — открытая равнина и маленькие рощицы.

Сердце все еще билось у меня от страшных сновидений, и кровь моя не переставала волноваться. Я вступил в темную аллею, под кров шумящих дубов и с некоторым благоговением углублялся во мрак ее. Мысль о друидах возбудилась в душе моей — и мне казалось, что я приближаюсь к тому святилищу, где хранятся все таинства и все ужасы их богослужения. Наконец сия длинная аллея привела меня к розмаринным кустам, за коими возвышался песчаный холм. Мне хотелось взойти на вершину его, чтобы оттуда при свете ясной луны взглянуть на картину моря и острова, но тут представилось глазам моим отверстие во внутренность холма; человек с трудом мог войти в него. Непреодолимое любопытство влекло меня в сию пещеру, которая походила более на дело рук человеческих, нежели на произведение дикой натуры. Я вошел — почувствовал сырость и холод, но решился идти далее и, сделав шагов десять вперед, рассмотрел несколько ступеней вниз и широкую железную дверь; она, к моему удивлению, была не заперта. Как будто бы невольным образом рука моя отворила ее — тут, за железною решеткою, на которой висел большой замок, горела лампада, привязанная ко своду, а в углу, на соломенной постеле, лежала молодая бледная женщина в черном платье. Она спала; русые волосы, с которыми переплелись желтые соломинки, закрывали высокую грудь ее, едва, едва дышащую; одна рука, белая, но иссохшая, лежала на земле, а на другой покоилась голова спящей. Если бы живописец хотел изобразить томную, бесконечную, всегдашнюю скорбь, осыпанную маковыми цветами Морфея, то сия женщина могла бы служить прекрасным образцом для кисти его.

Друзья мои! Кого не трогает вид несчастного! Но вид молодой женщины, страдающей в подземной темни-

це, — вид слабейшего и любезнейшего из всех существ, угнетенного судьбою, — мог бы влить чувство в самый камень. Я смотрел на нее с горестию и думал сам в себе: «Какая варварская рука лишила тебя дневного света? Неужели за какое-нибудь тяжкое преступление? Но миловидное лицо твое, но тихое движение груди твоей, но собственное сердце мое уверяют меня в твоей невинности!»

В самую сию минуту она проснулась — взглянула на решетку — увидела меня — изумилась — подняла голову — встала — приблизилась — потупила глаза в землю, как будто бы собираясь с мыслями, — снова устремила их на меня, хотела говорить и — не начинала.

«Если чувствительность странника, — сказал я через несколько минут молчания, — рукою судьбы приведенного в здешний замок и в эту пещеру, может облегчить твою участь, если искреннее его сострадание заслуживает твою доверенность, требуй его помощи!» — Она смотрела на меня неподвижными глазами, в которых видно было удивление, некоторое любопытство, нерешимость и сомнение. Наконец, после сильного внутреннего движения, которое как будто бы электрическим ударом потрясло грудь ее, отвечала твердым голосом: «Кто бы ты ни был, каким бы случаем ни зашел сюда, чужеземец, я не могу требовать от тебя ничего, кроме сожаления. Не в твоих силах переменить долю мою. Я лобызаю руку, которая меня наказывает». — «Но сердце твое невинно? — сказал я, — оно, конечно, не заслуживает такого жестокого наказания?» — «Сердце мое, — отвечала она, — могло быть в заблуждении. Бог простит слабую. Надеюсь, что жизнь моя скоро кончится. Оставь меня, незнакомец!» — Тут приблизилась она к решетке, взглянула на меня с ласкою и тихим голосом повторила: «Ради Бога, оставь меня!.. Если он сам послал тебя — тот, которого страшное проклятие гремит всегда в моем слухе, — скажи ему, что я страдаю, страдаю день и ночь, что сердце мое высохло от горести, что слезы не облегчают уже тоски моей. Скажи, что я без ропота, без жалоб сношу заключение, что я умру его нежною, несчастною...» — Она вдруг замолчала, задумалась, удалилась от решетки, стала на колени и закрыла руками лицо

свое, через минуту посмотрела на меня, снова потупила глаза в землю и сказала с нежною робостию: «Ты, может быть, знаешь мою историю, но если не знаешь, то не спрашивай меня — ради Бога, не спрашивай!.. Чужеземец, прости!» — Я хотел идти, сказав ей несколько слов, излившихся прямо из души моей, но взор мой еще встретился с ее взором — и мне показалось, что она хочет узнать от меня нечто важное для своего сердца. Я остановился, — ждал вопроса, но он, после глубокого вздоха, умер на бледных устах ее. Мы расстались.

Вышедши из пещеры, не хотел я затворить железной двери, чтобы свежий, чистый воздух сквозь решетку проник к темницу и облегчил дыхание несчастной. Заря алела на небе, птички пробудились, ветерок свевал росу с кустов и цветочков, которые росли вокруг песчаного холма. — «Боже мой! — думал я. — Боже мой! Как горестно быть исключенным из общества живых, вольных, радостных тварей, которыми везде населены необозримые пространства натуры! В самом севере, среди высоких мшистых скал, ужасных для взора, творение руки Твоей прекрасно, — творение руки Твоей восхищает дух и сердце. И здесь, где пенистые волны от начала мира сражаются с гранитными утесами, — и здесь десница Твоя напечатлела живые знаки творческой любви и благости, и здесь в час утра розы цветут на лазоревом небе, и здесь нежные зефиры дышат ароматами, и здесь зеленые ковры расстилаются, как мягкий бархат, под ногами человека, и здесь поют птички — поют весело для веселого, печально для печального, приятно для всякого, и здесь скорбящее сердце в объятиях чувствительной природы может облегчиться от бремени своих горестей! Но — бедная, заключенная в темнице, не имеет сего утешения: роса утренняя не окропляет ее томного сердца, ветерок не освежает истлевшей груди, лучи солнечные не озаряют помрачненных глаз ее, тихие бальзамические излияния луны не питают души ее кроткими сновидениями и приятными мечтами. Творец! Почто даровал Ты людям гибельную власть делать несчастными друг друга и самих себя?» — — Силы мои ослабели, и глаза закрылись, под ветвями высокого дуба, на мягкой зелени.

Сон мой продолжался около двух часов.

«Дверь была отворена; чужестранец входил в пещеру», — вот что услышал я, проснувшись, — открыл глаза и увидел старца, хозяина своего; он сидел в задумчивости на дерновой лавке, шагах в пяти от меня; подле него стоял тот человек, который ввел меня в замок. Я подошел к ним. Старец взглянул на меня с некоторою суровостию, встал, пожал мою руку — и вид его сделался ласковее. Мы вошли вместе в густую аллею, не говоря ни слова. Казалось, что он в душе своей колебался и был в нерешимости, но вдруг остановился и, устремив на меня проницательный, огненный взор, спросил твердым голосом: «Ты видел ее?» — «Видел, — отвечал я, — видел, не узнав, кто она и за что страдает в темнице». — «Узнаешь, — сказал он, — узнаешь, молодой человек, и сердце твое обольется кровию. Тогда спросишь у самого себя: за что Небо излияло всю чашу гнева своего на сего слабого, седого старца, старца, который любил добродетель, который чтил святые законы Его?» — Мы сели под деревом, и старец рассказал мне ужаснейшую историю — историю, которой вы теперь не услышите, друзья мои; она остается до другого времени. На сей раз скажу вам одно то, что я узнал тайну гревзендского незнакомца — тайну страшную!

Матрозы дожидались меня у ворот замка. Мы возвратились на корабль, подняли парусы, и Борнгольм скрылся от глаз наших.

Море шумело. В горестной задумчивости стоял я на палубе, взявшись рукою за мачту. Вздохи теснили грудь мою — наконец я взглянул на небо — и ветер свеял в море слезу мою.

1793

СИЕРРА-МОРЕНА

В цветущей Андалузии — там, где шумят гордые пальмы, где благоухают миртовые рощи, где величественный Гвадальквивир катит медленно свои воды, где возвышается розмарином увенчанная Сиерра-Море-

на[1], — там увидел я прекрасную, когда она в унынии, в горести стояла подле Алонзова памятника, опершись на него лилейною рукою своею; луч утреннего солнца позлащал белую урну и возвышал трогательные прелести нежной Эльвиры; ее русые волосы, рассыпаясь по плечам, падали на черный мрамор.

Эльвира любила юного Алонза, Алонзо любил Эльвиру и скоро надеялся быть супругом ее, но корабль, на котором плыл он из Маиорки (где жил отец его), погиб в волнах моря. Сия ужасная весть сразила Эльвиру. Жизнь ее была в опасности... Наконец отчаяние превратилось в тихую скорбь и томность. Она соорудила мраморный памятник любимцу души своей и каждый день орошала его жаркими слезами.

Я смешал слезы мои с ее слезами. Она увидела в глазах моих изображение своей горести, в чувствах сердца моего узнала собственные свои чувства и назвала меня другом. Другом!.. Как сладостно было имя сие в устах любезной! — Я в первый раз поцеловал тогда руку ее.

Эльвира говорила мне о своем незабвенном Алонзе, описывала красоту души его, свою любовь, свои восторги, свое блаженство, потом отчаяние, тоску, горесть и, наконец, — утешение, отраду, находимую сердцем ее в милом дружестве. Тут взор Эльвирин блистал светлее, розы на лице ее оживлялись и пылали, рука ее с горячностию пожимала мою руку.

Увы! В груди моей свирепствовало пламя любви: сердце мое сгорало от чувств своих, кровь кипела — и мне надлежало таить страсть свою!

Я таил оную, таил долго. Язык мой не дерзал именовать того, что питала в себе душа моя: ибо Эльвира клялась не любить никого, кроме своего Алонза, клялась не любить в другой раз. Ужасная клятва! Она заграждала уста мои.

Мы были неразлучны, гуляли вместе на злачных берегах величественного Гвадальквивира, сидели над журчащими его водами, подле горестного Алонзова памятника, в тишине и безмолвии; одни сердца наши говори-

---

[1] То есть Черная гора.

ли. Взор Эльвирин, встречаясь с моим, опускался к земле или обращался на небо. Два вздоха вылетали, соединялись и, мешаясь с зефиром, исчезали в пространствах воздуха. Жар дружеских моих объятий возбуждал иногда трепет в нежной Эльвириной груди — быстрый огонь разливался по лицу прекрасной — я чувствовал скорое биение пульса ее — чувствовал, как она хотела успокоиться, хотела удержать стремление крови своей, хотела говорить... Но слова на устах замирали. — Я мучился и наслаждался.

Часто темная ночь застигала нас в отдаленном уединении. Звучное эхо повторяло шум водопадов, который раздавался между высоких утесов Сиерры-Морены, в ее глубоких расселинах и долинах. Сильные ветры волновали и крутили воздух, багряные молнии вились на черном небе или бледная луна над седыми облаками восходила. — Эльвира любила ужасы натуры: они возвеличивали, восхищали, питали ее душу.

Я был с нею!.. Я радовался сгущению ночных мраков. Они сближали сердца наши, они скрывали Эльвиру от всей природы — и я тем живее, тем *нераздельнее* наслаждался ее присутствием.

Ах! Можно сражаться с сердцем долго и упорно, но кто победит его? — Бурное стремление яростных вод разрывает все оплоты, и каменные горы распадаются от силы огненного вещества, в их недрах заключенного.

Сила чувств моих все преодолела, и долго таимая страсть излилась в нежном признании!

Я стоял на коленях, и слезы мои текли рекою. Эльвира бледнела — и снова уподоблялась розе. Знаки страха, сомнения, скорби, нежной томности менялись на лице ее!..

Она подала мне руку с умильным взором. — «Жестокий! — сказала Эльвира — но сладкий голос ее смягчил всю жестокость сего упрека. — Жестокий! Ты недоволен кроткими чувствами дружбы, ты принуждаешь меня нарушить обет священный и торжественный!.. Пусть же громы небесные поразят клятвопреступницу!.. Я люблю тебя!..» Огненные поцелуи мои запечатлели уста ее.

Боже мой!.. Сия минута была счастливейшею в моей жизни!

Эльвира пошла к Алонзову памятнику, стала перед ним на колени и, обнимая белую урну, сказала трогательным голосом: «Тень любезного Алонза! Простишь ли свою Эльвиру?.. Я клялась вечно любить тебя и вечно любить не перестану, образ твой сохранится в моем сердце, всякий день буду украшать цветами твой памятник, слезы мои будут всегда мешаться с утреннею и вечернею росою на сем хладном мраморе! — Но я клялась еще не любить никого, кроме тебя... и люблю!.. Увы! Я надеялась на сердце свое и поздно увидела опасность. Оно тосковало, — было одно в пространном мире, — искало утешения, — дружба явилась ему в венце невинности и добродетели... Ах!.. Любезная тень! простишь ли свою Эльвиру?»

Любовь моя была красноречива: я успокоил милую, и все облака исчезли в ангельских очах ее.

Эльвира назначила день для нашего вечного соединения, предалась нежным чувствам своим, и я наслаждался небом! — Но гром собирался над нами... Рука моя трепещет!

Все радовались в Эльвирином замке, все готовились к брачному торжеству. Ее родственники любили меня — Андалузия долженствовала быть вторым моим отечеством!

Уже розы и лилии на олтаре благоухали, и я приблизился к оному с прелестною Эльвирою, с восторгом в душе, с сладким трепетом в сердце, уже священник готовился утвердить союз наш своим благословением — как вдруг явился незнакомец, в черной одежде, с бледным лицом, с мрачным видом; кинжал блистал в руке его. «Вероломная! — сказал он Эльвире. — Ты клялась быть вечно моею и забыла свою клятву! Я клялся любить тебя до гроба: умираю... и люблю!..» Уже кровь лилась из его сердца, он вонзил кинжал в грудь свою и пал мертвый на помост храма.

Эльвира, как громом пораженная, в исступлении, в ужасе воскликнула: «Алонзо! Алонзо!..» — и лишилась

памяти. — Все стояли неподвижно. Внезапность страшного явления изумила присутствующих.

Сей бледный незнакомец, сей грозный самоубийца был Алонзо. Корабль, на котором он плыл из Маиорки, погиб, но алжирцы извлекли юношу из волн, чтобы оковать его цепями тяжкой неволи. Через год он получил свободу, — летел к предмету любви своей, — услышал о замужестве Эльвирином и решился наказать ее... своею смертию.

Я вынес Эльвиру из храма. Она пришла в себя, — но пламя любви навек угасло в очах и сердце ее. «Небо страшно наказало клятвопреступницу, — сказала мне Эльвира, — я убийца Алонзова! Кровь его палит меня. Удались от несчастной! Земля расступилась между нами, и тщетно будешь простирать ко мне руки свои! Бездна разделила нас навеки. Можешь только взорами своими растравлять неизлечимую рану моего сердца. Удались от несчастной!»

Моя горесть, мое отчаяние не могли тронуть ее — Эльвира погребла несчастного Алонза на том месте, где оплакивала некогда мнимую смерть его, и заключилась в строжайшем из женских монастырей. Увы! Она не хотела проститься со мною!.. Не хотела, чтобы я в последний раз обнял ее со всею горячностию любви и видел в глазах ее хотя одно сожаление о моей участи!

Я был в исступлении — искал в себе чувствительного сердца, но сердце, подобно камню, лежало в груди моей — искал слез и не находил их — мертвое, страшное уединение окружило меня.

День и ночь слились для глаз моих в вечный сумрак. Долго не знал я ни сна, ни отдохновения, скитался по тем местам, где бывал вместе — с жестокою и несчастною; хотел найти следы, остатки, части *моей* Эльвиры, напечатления души ее... Но хлад и тьма везде меня встречали!

Иногда приближался я к уединенным стенам того монастыря, где заключилась неумолимая Эльвира: там грозные башни возвышались, железные запоры на вратах чернелись, вечное безмолвие обитало, и какой-то унылый голос вещал мне: «Для тебя уже нет Эльвиры!»

Наконец я удалился от Сиерры-Морены — оставил Ан-

далузию, Гишпанию, Европу, — видел печальные остатки древней Пальмиры, некогда славной и великолепной, — и там, опершись на развалины, внимал глубокой, красноречивой тишине, царствующей в сем запустении и одними громами прерываемой. Там, в объятиях меланхолии, сердце мое размягчилось, — там слеза моя оросила сухое тление, — там, помышляя о жизни и смерти народов, живо восчувствовал я суету всего подлунного и сказал самому себе: «Что есть жизнь человеческая? Что бытие наше? Один миг, и все исчезнет! Улыбка счастия и слезы бедствия покроются единою горстию черной земли!» — Сии мысли чудесным образом успокоили мою душу.

Я возвратился в Европу и был некоторое время игралищем злобы людей, некогда мною любимых; хотел еще видеть Андалузию, Сиерру-Морену, и узнал, что Эльвира переселилась уже в обители небесные; пролил слезы на ее могиле и обтер их навеки.

Хладный мир! Я тебя оставил! — Безумные существа, человеками именуемые! Я вас оставил! Свирепствуйте в лютых своих исступлениях, терзайте, умерщвляйте друг друга! Сердце мое для вас мертво, и судьба ваша его не трогает.

Живу теперь в стране печального севера, где глаза мои в первый раз озарились лучом солнечным, где величественная натура из недр бесчувствия приняла меня в свои объятия и включила в систему *эфемерного* бытия, — живу в уединении и внимаю бурям.

Тихая ночь — вечный покой — святое безмолвие! К вам, к вам простираю мои объятия!

1793

МАРФА-ПОСАДНИЦА, ИЛИ ПОКОРЕНИЕ НОВАГОРОДА

Историческая повесть

Вот один из самых важнейших случаев российской истории! — говорит издатель сей повести. — Мудрый Иоанн должен был для славы и силы отечества присоединить область Новогородскую к своей державе: хвала

ему! Однако ж сопротивление новогородцев не есть бунт каких-нибудь якобинцев: они сражались за древние свои уставы и права, данные им отчасти самими великими князьями, например Ярославом, утвердителем их вольности. Они поступили только безрассудно: им должно было предвидеть, что сопротивление обратится в гибель Новугороду, и благоразумие требовало от них добровольной жертвы.

В наших летописях мало подробностей сего великого происшествия, но случай доставил мне в руки старинный манускрипт, который сообщаю здесь любителям истории и сказок, исправив только слог его, темный и невразумительный. Думаю, что это писано одним из знатных новогородцев, переселенных великим князем Иоанном Васильевичем в другие города. Все главные происшествия согласны с историею. И летописи и старинные песни отдают справедливость великому уму Марфы Борецкой, сей чудной женщины, которая умела овладеть народом и хотела (весьма некстати!) быть Катоном своей республики.

Кажется, что старинный автор сей повести даже и в душе своей не винил Иоанна. Это делает честь его справедливости, хотя при описании некоторых случаев кровь новогородская явно играет в нем. Тайное побуждение, данное им фанатизму Марфы, доказывает, что он видел в ней только *страстную*, пылкую, умную, а не великую и не добродетельную женщину.

Книга первая

Раздался звук *вечевого колокола*, и вздрогнули сердца в Новегороде. Отцы семейств вырываются из объятий супруг и детей, чтобы спешить, куда зовет их отечество. Недоумение, любопытство, страх и надежда влекут граждан шумными толпами на великую площадь. Все спрашивают; никто не ответствует... Там, против древнего дому Ярославова, уже собралися посадники с золотыми на груди медалями, тысячские с высокими жезлами, бояре, люди житые с знаменами и старосты всех

пяти концов новогородских[1] с серебряными секирами. Но еще не видно никого на месте лобном, или Вадимовом (где возвышался мраморный образ сего витязя). Народ криком своим заглушает звон колокола и требует открытия веча. Иосиф Делинский, именитый гражданин, бывший семь раз степенным посадником — и всякий раз с новыми услугами отечеству, с новою честию для своего имени, — всходит на железные ступени, открывает седую, почтенную свою голову, смиренно кланяется народу и говорит ему, что князь московский прислал в Великий Новгород своего боярина, который желает всенародно объявить его требования... Посадник сходит — и боярин Иоаннов является на Вадимовом месте, с видом гордым, препоясанный мечом и в латах. То был воевода, князь Холмский, муж благоразумный и твердый — правая рука Иоаннова в предприятиях воинских, око его в делах государственных — храбрый в битвах, велеречивый в совете. Все безмолвствуют, боярин хочет говорить... Но юные надменные новогородцы восклицают: «Смирись пред великим народом!» Он медлит — тысячи голосов повторяют: «Смирись пред великим народом!» Боярин снимает шлем с головы своей — и шум умолкает.

«Граждане новогородские! — вещает он. — Князь Московский и всея России говорит с вами — внимайте!

Народы дикие любят независимость, народы мудрые любят порядок, а нет порядка без власти самодержавной. Ваши предки хотели править сами собой и были жертвою лютых соседов или еще лютейших внутренних междоусобий. Старец добродетельный, стоя на праге вечности, заклинал их избрать владетеля. Они поверили ему, ибо человек при дверях гроба может говорить только истину.

Граждане новогородские! В стенах ваших родилось, утвердилось, прославилось самодержавие земли русской. Здесь великодушный Рюрик творил суд и правду; на сем месте древние новогородцы лобызали ноги своего отца и князя, который примирил внутренние раздоры, успокоил и возвеличил город их. На сем месте они про-

---

[1] Так назывались части города: Конец *Неровский, Гончарский, Славянский, Загородский и Плотнинский.*

клинали гибельную вольность и благословляли спасительную власть единого. Прежде ужасные только для самих себя и несчастные в глазах соседов, новогородцы под державною рукою варяжского героя сделались ужасом и завистию других народов; и когда Олег храбрый двинулся с воинством к пределам юга, все племена славянские покорялись ему с радостию, и предки ваши, товарищи его славы, едва верили своему величию.

Олег, следуя за течением Днепра, возлюбил красные берега его и в благословенной стране Киевской основал столицу своего обширного государства; но Великий Новгород был всегда десницею князей великих, когда они славили делами имя русское. Олег под щитом новогородцев прибил щит свой к вратам цареградским. Святослав с дружиною новогородскою рассеял, как прах, воинство Цимисхия, и внук Ольгин вашими предками был прозван Владетелем мира.

Граждане новогородские! Не только воинскою славою обязаны вы государям русским: если глаза мои, обращаясь на все концы вашего града, видят повсюду златые кресты великолепных храмов святой веры, если шум Волхова напоминает вам тот великий день, в который знаки идолослужения погибли с шумом в быстрых волнах его, то вспомните, что Владимир соорудил здесь первый храм истинному Богу, Владимир низверг Перуна в пучину Волхова!.. Если жизнь и собственность священны в Новегороде, то скажите, чья рука оградила их безопасностию?.. Здесь (указывая на дом Ярослава) — здесь жил мудрый законодатель, благотворитель ваших предков, князь великодушный, друг их, которого называли они вторым Рюриком!.. Потомство неблагодарное! Внимай справедливым укоризнам!

Новогородцы, быв всегда старшими сынами России, вдруг отделились от братий своих; быв верными подданными князей, ныне смеются над их властию... и в какие времена? О стыд имени русского! Родство и дружба познаются в напастях, любовь к отечеству также... Бог в неисповедимом совете Своем положил наказать землю русскую. Явились варвары бесчисленные, пришельцы от

стран никому не известных[1], подобно сим тучам насекомых, которые небо во гневе своем гонит бурею на жатву грешника. Храбрые славяне, изумленные их явлением, сражаются и гибнут, земля русская обагряется кровью русских, города и села пылают, гремят цепи на девах и старцах... Что ж делают новогородцы? Спешат ли на помощь к братьям свои... Нет! Пользуясь своим удалением от мест кровопролития, пользуясь общим бедствием князей, отнимают у них власть законную, держат их в стенах своих, как в темнице, изгоняют, призывают других и снова изгоняют. Государи новогородские, потомки Рюрика и Ярослава, должны были слушаться посадников и трепетать *вечевого колокола*, как трубы суда Страшного! Наконец никто уже не хотел быть князем вашим, рабом мятежного веча... Наконец русские и новогородцы не узнают друг друга!

Отчего же такая перемена в сердцах ваших? Как древнее племя славянское могло забыть кровь свою?.. Корыстолюбие, корыстолюбие ослепило вас! Русские гибнут, новогородцы богатеют. В Москву, в Киев, в Владимир привозят трупы христианских витязей, убиенных неверными, и народ, осыпав пеплом главу свою, с воплем встречает их; в Новгород привозят товары чужеземные, и народ с радостными восклицаниями приветствует гостей[2] иностранных! Русские считают язвы свои, новогородцы считают златые монеты. Русские в узах, Новогородцы славят вольность свою!

Вольность!.. Но вы также рабствуете. Народ! Я говорю с тобою. Бояре честолюбивые, уничтожив власть государей, сами овладели ею. Вы повинуетесь — ибо народ всегда повиноваться должен, — но только не священной крови Рюрика, а купцам богатым. О стыд! Потомки славян ценят златом права властителей! Роды княжеские, издревле имениты, возвысились делами храбрости и славы; ваши посадники, тысячские, люди житые обязаны своим достоинством благоприятному ветру и хитростям корыстолюбия. Привыкшие к выгодам торговли,

---

[1] Так думали в России о татарах.

[2] То есть купцов.

торгуют и благом народа; кто им обещает злато, тому они вас обещают. Так, известны князю Московскому их дружественные, тайные связи с Литвою и Казимиром. Скоро, скоро вы соберетесь на звук *вечевого колокола,* и надменный поляк скажет вам на лобном месте: «Вы — рабы мои!» Но Бог и великий Иоанн еще о вас пекутся.

Новогородцы! Земля русская воскресает. Иоанн возбудил от сна древнее мужество славян, одобрил унылое воинство, и берега Камы были свидетелями побед наших. Дуга мира и завета воссияла над могилами князей Георгия, Андрея, Михаила. Небо примирилось с нами, и мечи татарские иступились. Настало время мести, время славы и торжества христианского. Еще удар последний не совершился, но Иоанн, избранный Богом, не опустит державной руки своей, доколе не сокрушит врагов и не смешает их праха с земною перстию. Димитрий, поразив Мамая, не освободил России; Иоанн все предвидит, и, зная, что разделение государства было виною бедствий его, он уже соединил все княжества под своею державою и признан властелином земли русской. Дети отечества, после горестной долговременной разлуки, объемлются с веселием пред очами государя и мудрого отца их.

Но радость его не будет совершенна, доколе Новгород, древний, Великий Новгород, не возвратится под сень отечества. Вы оскорбляли его предков, он все забывает, если ему покоритесь. Иоанн, достойный владеть миром, желает только быть государем новогородским!.. Вспомните, когда он был мирным гостем посреди вас; вспомните, как вы удивлялись его величию, когда он, окруженный своими вельможами, шел по стогнам Новаграда в дом Ярославов; вспомните, с каким благоволением, с какою мудростию он беседовал с вашими боярами о древностях новогородских, сидя на поставленном для него троне близ места Рюрикова, откуда взор его обнимал все концы града и веселые окрестности; вспомните, как вы единодушно восклицали: «Да здравствует князь московский, великий и мудрый!» Такому ли государю не славно повиноваться, и для того единственно, чтобы вместе с ним совершенно освободить Россию от ига варваров? Тогда Новгород еще более украсится и возвеличится в мире.

Вы будете *первыми* сынами России; здесь Иоанн поставит трон свой и воскресит счастливые времена, когда не шумное *вече*, но Рюрик и Ярослав судили вас, как отцы детей, ходили по стогнам и вопрошали бедных, не угнетают ли их богатые? Тогда бедные и богатые равно будут счастливы, ибо все подданные равны пред лицом владыки самодержавного.

Народ и граждане! Да властвует Иоанн в Новегороде, как он в Москве властвует! Или — внимайте его последнему слову — или храброе воинство, готовое сокрушить татар, в грозном ополчении явится прежде глазам вашим да усмирит мятежников!.. Мир или война? Ответствуйте!»

С сим словом боярин Иоаннов надел шлем и сошел с лобного места.

Еще продолжается молчание. Чиновники и граждане в изумлении. Вдруг колеблются толпы народные, и громко раздаются восклицания: «Марфа! Марфа!» Она всходит на железные ступени, тихо и величаво; взирает на бесчисленное собрание граждан и безмолвствует... Важность и скорбь видны на бледном лице ее... Но скоро осененный горестию взор блеснул огнем вдохновения, бледное лицо покрылось румянцем, и Марфа вещала:

«Вадим! Вадим! Здесь лилась священная кровь твоя, здесь призываю небо и тебя во свидетели, что сердце мое любит славу отечества и благо сограждан, что скажу истину народу новогородскому и готова запечатлеть ее моею кровию. Жена дерзает говорить на вече, но предки мои были друзья Вадимовы, я родилась в стане воинском под звуком оружия, отец, супруг мой погибли, сражаясь за Новгород. Вот право мое быть защитницею вольности! Оно куплено ценою моего счастия...»

«Говори, славная дочь Новаграда!» — воскликнул народ единогласно — и глубокое безмолвие снова изъявило его внимание.

«Потомки славян великодушных! Вас называют мятежниками!.. За то ли, что вы подъяли из гроба славу их? Они были свободны, когда текли с востока на запад избрать себе жилище во вселенной, свободны, подобно орлам, парившим над их главою в обширных пустынях

древнего мира... Они утвердились на красных берегах Ильменя и всё еще служили одному Богу. Когда Великая Империя[1], как ветхое здание, сокрушалась под сильными ударами диких героев севера, когда готфы, вандалы, эрулы и другие племена скифские искали везде добычи, жили убийствами и грабежом, тогда славяне имели уже селения и города, обработывали землю, наслаждались приятными искусствами мирной жизни, но все еще любили независимость. Под сению древа чувствительный славянин играл на струнах изобретенного им мусикийского орудия[2], но меч его висел на ветвях, готовый наказать хищника и тирана. Когда Баян, князь аварский, страшный для императоров Греции, потребовал, чтобы славяне ему поддалися, они гордо и спокойно ответствовали: «Никто во вселенной не может поработить нас, доколе не выдут из употребления мечи и стрелы!..»[3] О великие воспоминания древности! Вы ли должны склонять нас к рабству и к узам?

Правда, с течением времен родились в душах новые страсти, обычаи древние, спасительные забывались, и неопытная юность презирала мудрые советы старцев; тогда славяне призвали к себе знаменитых храбростию князей варяжских, да повелевают юным мятежным воинством. Но когда Рюрик захотел самовольно властвовать, гордость славянская ужаснулась своей неосторожности, и Вадим *Храбрый* звал его пред суд народа. «Меч и боги да будут нашими судиями!» — ответствовал Рюрик, и Вадим пал от руки его, сказав: «Новогородцы! На место, обагренное моею кровию, приходите оплакивать свое неразумие — и славить вольность, когда она с торжеством явится снова в стенах ваших...» Исполнилось желание великого мужа: народ собирается на священной могиле его, свободно и независимо решить судьбу свою.

Так, кончина Рюрика — да отдадим справедливость сему знаменитому витязю! — мудрого и смелого Рюрика

---

[1] Римская.

[2] См. византийских историков Феофилакта и Феофана.

[3] См. Менандера.

воскресила свободу новогородскую. Народ, изумленный его величием, невольно и смиренно повиновался, но скоро, не видя уже героя, пробудился от глубокого сна, и Олег, испытав многократно его упорную непреклонность, удалился от Новагорода с воинством храбрых варягов и славянских юношей, искать победы, данников и рабов между другими скифскими, менее отважными и гордыми племенами. С того времени Новгород признавал в князьях своих единственно полководцев и военачальников; народ избрал власти гражданские и, повинуясь им, повиновался уставу воли своей. В киевлянах и других россиянах отцы наши любили кровь славянскую, служили им, как друзьям и братьям, разили их неприятелей и вместе с ними славились победами. Здесь провел юность свою Владимир, здесь, среди примеров народа великодушного, образовался великий дух его, здесь мудрая беседа старцев наших возбудила в нем желание вопросить все народы земные о таинствах веры их, да откроется истина ко благу людей; и когда, убежденный в святости христианства, он принял его от греков, новогородцы, разумнее других племен славянских, изъявили и более ревности к новой истинной вере. Имя Владимира священно в Новегороде; священна и любезна память Ярослава, ибо он первый из князей русских утвердил законы и вольность великого града. Пусть дерзость называет отцов наших неблагодарными за то, что они отражали властолюбивые предприятия его потомков! Дух Ярославов оскорбился бы в небесных селениях, если бы мы не умели сохранить древних прав, освященных его именем. Он любил новогородцев, ибо они были свободны; их признательность радовала его сердце, ибо только души свободные могут быть признательными: рабы повинуются и ненавидят! Нет, благодарность наша торжествует, доколе народ во имя отечества собирается пред домом Ярослава и, смотря на сии древние стены, говорит с любовию: «Там жил друг наш!»

Князь московский укоряет тебя, Новгород, самым твоим благоденствием — и в сей вине не может оправдаться! Так, конечно: цветут области новогородские, поля златятся класами, житницы полны, богатства

льются к нам рекою; Великая Ганза[1] гордится нашим союзом; чужеземные гости ищут дружбы нашей, удивляются славе великого града, красоте его зданий, общему избытку граждан и, возвратясь в страну свою, говорят: «Мы видели Новгород, и ничего подобного ему не видали!» Так, конечно: Россия бедствует — ее земля обагряется кровию, веси и грады опустели, люди, как звери, в лесах укрываются, отец ищет детей и не находит, вдовы и сироты просят милостыни на распутиях. Так, мы счастливы — и виновны, ибо дерзнули повиноваться законам своего блага, дерзнули не участвовать в междоусобиях князей, дерзнули спасти имя русское от стыда и поношения, не принять оков татарских и сохранить драгоценное достоинство народное!

Не мы, о россияне несчастные, но всегда любезные нам братья! не мы, но вы нас оставили, когда пали на колена пред гордым ханом и требовали цепей для спасения поносной жизни, когда свирепый Батый, видя свободу единого Новаграда, как яростный лев, устремился растерзать его смелых граждан, когда отцы наши, готовясь к славной битве, острили мечи на стенах своих — без робости: ибо знали, что умрут, а не будут рабами!.. Напрасно с высоты башен взор их искал вдали дружественных легионов русских, в надежде, что вы захотите в последний раз и в последней ограде русской вольности еще сразиться с неверными! Одни робкие толпы беглецов являлись на путях Новаграда; не стук оружия, а вопль малодушного отчаяния был вестником их приближения; они требовали не стрел и мечей, а хлеба и крова!.. Но Батый, видя отважность свободных людей, предпочел безопасность свою злобному удовольствию мести. Он спешил удалиться!.. Напрасно граждане новогородские молили князей воспользоваться таким примером и общими силами, с именем Бога русского ударить на варваров; князья платили дань и ходили в стан татарский обвинять друг друга в замыслах против Батыя; великодушие сделалось предметом доносов, к несчастию ложных!.. И если

---

[1] Союз вольных немецких городов, который имел свои конторы в Новегороде.

имя победы в течение двух столетий сохранилось еще в языке славянском, то не гром ли новогородского оружия напоминал его земле русской! Не отцы ли наши разили еще врагов на берегах Невы? Воспоминание горестное! Сей витязь добродетельный, драгоценный остаток древнего геройства князей варяжских, заслужив имя бессмертное с верною новогородскою дружиною, храбрый и счастливый между нами, оставил здесь и славу и счастие, когда предпочел имя великого князя России имени новогородского полководца: не величие, но унижение и горесть ожидали Александра во Владимире — и тот, кто на берегах Невы давал законы храбрым ливонским рыцарям, должен был упасть к ногам Сартака.

Иоанн желает повелевать великим градом: неудивительно! он собственными глазами видел славу и богатство его. Но все народы земные и будущие столетия не престали бы дивиться, если бы мы захотели ему повиноваться. Какими надеждами он может обольстить нас? Одни несчастные легковерны; одни несчастные желают перемен — но мы благоденствуем и свободны! благоденствуем оттого, что свободны! Да молит Иоанн небо, чтобы оно во гневе своем ослепило нас: тогда Новгород может возненавидеть счастие и пожелать гибели, но доколе видим славу свою и бедствия княжеств русских, доколе гордимся ею и жалеем об них, дотоле права новогородские всего святее нам по Боге.

Я не дерзну оправдывать вас, мужи, избранные общею доверенностию для правления! Клевета в устах властолюбия и зависти недостойна опровержения. Где страна цветет и народ ликует, там правители мудры и добродетельны. Как! Вы торгуете благом народным? Но могут ли все сокровища мира заменить вам любовь сограждан вольных? Кто узнал ее сладость, тому чего желать в мире? Разве последнего счастия умереть за отечество!

Несправедливость и властолюбие Иоанна не затмевают в глазах наших его похвальных свойств и добродетелей. Давно уже молва народная известила нас о его величии, и люди вольные желали иметь гостем самовластителя; искренние сердца их свободно изливались в ра-

достных восклицаниях при его торжественном въезде. Но знаки усердия нашего, конечно, обманули князя московского; мы хотели изъявить ему приятную надежду, что рука его свергнет с России иго татарское: он вздумал, что мы требуем от него уничтожения нашей собственной вольности! Нет! Нет! Да будет велик Иоанн, но да будет велик и Новгород! Да славится князь Московский истреблением врагов христианства, а не друзей и не братий земли русской, которыми она еще славится в мире! Да прервет оковы ее, не возлагая их на добрых и свободных новогородцев! Еще Ахмат дерзает называть его своим данником: да идет Иоанн против монгольских варваров, и верная дружина наша откроет ему путь к стану Ахматову! Когда же сокрушит врага, тогда мы скажем ему: «Иоанн! Ты возвратил земле русской честь и свободу, которых мы никогда не теряли. Владей сокровищами, найденными тобою в стане татарском, они были собраны с земли твоей; на них нет клейма новогородского: мы не платили дани ни Батыю, ни потомкам его! Царствуй с мудростию и славою, залечи глубокие язвы России, сделай подданных своих и наших братий счастливыми — и если когда-нибудь соединенные твои княжества превзойдут славою Новгород, если мы позавидуем благоденствию твоего народа, если Всевышний накажет нас раздорами, бедствиями, унижением, тогда — клянемся именем отечества и свободы! — тогда приидем не в столицу польскую, но в царственный град Москву, как некогда древние новогородцы пришли к храброму Рюрику; и скажем — не Казимиру, но тебе: «Владей нами! Мы уже не умеем править собою!»

Ты содрогаешься, о народ великодушный!.. Да идет мимо нас сей печальный жребий! Будь всегда достоин свободы, и будешь всегда свободным! Небеса правосудны и ввергают в рабство одни порочные народы. Не страшись угроз Иоанновых, когда сердце твое пылает любовию к отечеству и к святым уставам его, когда можешь умереть за честь предков своих и за благо потомства!

Но если Иоанн говорит истину, если в самом деле гнусное корыстолюбие овладело душами новогородцев, если мы любим сокровища и негу более добродетели и

славы, то скоро ударит последний час нашей вольности, и *вечевой колокол*, древний глас ее, падет с башни Ярославовой и навсегда умолкнет!.. Тогда, тогда мы позавидуем счастию народов, которые никогда не знали свободы. Ее грозная тень будет являться нам, подобно мертвецу бледному, и терзать сердце наше бесполезным раскаянием!

Но знай, о Новгород, что с утратою вольности иссохнет и самый источник твоего богатства: она оживляет трудолюбие, изощряет серпы и златит нивы, она привлекает иностранцев в наши стены, с сокровищами торговли, она же окриляет суда новогородские, когда они с богатым грузом по волнам несутся... Бедность, бедность накажет недостойных граждан, не умевших сохранить наследия отцов своих! Померкнет слава твоя, град великий, опустеют многолюдные *концы* твои, широкие улицы зарастут травою, и великолепие твое, исчезнув навеки, будет баснею народов. Напрасно любопытный странник среди печальных развалин захочет искать того места, где собиралось вече, где стоял дом Ярославов и мраморный образ Вадима: никто ему не укажет их. Он задумается горестно и скажет только: «Здесь *был* Новгород!..»

Тут страшный вопль народа не дал уже говорить посаднице. «Нет, нет! Мы все умрем за отечество! — восклицают бесчисленные голоса. — Новгород — государь наш! Да явится Иоанн с воинством!» Марфа, стоя на Вадимовом месте, веселится действием ее речи. Чтобы еще более воспалить умы, она показывает цепь, гремит ею в руке своей и бросает на землю: народ в исступлении гнева попирает оковы ногами, взывая: «Новгород — государь наш! Война, война Иоанну!» Напрасно посол московский желает еще говорить именем великого князя и требует внимания, дерзкие подъемлют на него руку, и Марфа должна защитить боярина. Тогда он извлекает меч, ударяет им о подножие Вадимова образа и, возвысив голос свой, с душевною скорбию произносит: «Итак, да будет война между великим князем Иоанном и гражданами новогородскими! Да возвратятся *клятвенные гра-*

моты![1] Бог да судит вероломных!..» Марфа вручает послу грамоту Иоаннову и принимает новогородскую. Она дает ему стражу и *знамя мира*. Народные толпы перед ним расступаются. Боярин выходит из града. Там ожидала его московская дружина... Марфа следует за ним взором своим, опершись на образ Вадимов. Посол Иоаннов садится на коня и еще с горестию взирает на Новгород. Железные запоры стучат на городских воротах, и боярин тихо едет по московской дороге, провождаемый своими воинами. Вечерние лучи солнца угасали на их блестящем оружии.

Марфа вздохнула свободно. Видя ужасный мятеж народа (который, подобно бурным волнам, стремился по стогнам и беспрестанно восклицал: «Новгород — государь наш! Смерть врагам его!»), внимая грозному набату, который гремел во всех пяти *концах* города (в знак объявления войны), сия величавая жена подъемлет руки к небу, и слезы текут из глаз ее. «О тень моего супруга! — тихо вещает она с умилением. — Я исполнила клятву свою! Жребий брошен: да будет, что угодно судьбе!..» Она сходит с Вадимова места.

Вдруг раздается треск и гром на великой площади... Земля колеблется под ногами... Набат и шум народный умолкают... Все в изумлении. Густое облако пыли закрывает от глаз дом Ярослава и лобное место... Сильный порыв ветра разносит наконец густую мглу, и все с ужасом видят, что высокая башня Ярослава, новое гордое здание народного богатства, пала с *вечевым колоколом* и дымится в своих развалинах...[2] Пораженные сим явлением, граждане безмолвствуют... Скоро тишина прерывается голосом — внятным, но подобным глухому стону, как будто бы исходящему из глубокой пещеры: «О Новгород! Так падет слава твоя! Так исчезнет твое величие!..» Сердца ужаснулись. Взоры устремились на одно место, но след голоса исчез в воздухе вместе с сло-

---

[1] Клятвенными грамотами назывались дружественные трактаты. При объявлении войны надлежало всегда возвращать их.

[2] Летописи наши говорят о падении новой колокольни и ужасе народа.

вами: напрасно искали, напрасно хотели знать, кто произнес их. Все говорили: «Мы слышали!», никто не мог сказать, от кого? Именитые чиновники, устрашенные народным впечатлением более, нежели самым происшествием, всходили один за другим на Вадимово место и старались успокоить граждан. Народ требовал мудрой, великодушной, смелой Марфы: посланные нигде не могли найти ее.

Между тем настала бурная ночь. Засветились факелы; сильный ветер беспрестанно задувал их, беспрестанно надлежало приносить огонь из домов соседственных. Но тысячские и бояре ревностно трудились с гражданами: отрыли *вечевой колокол* и повесили на другой башне. Народ хотел слышать священный и любезный звон его — услышал и казался покойным. Степенный посадник распустил *вече*. Толпы редели. Еще друзья и ближние останавливались на площади и на улицах говорить между собою, но скоро настала всеобщая тишина, подобно как море после бури, и самые огни в домах (где жены новогородские с беспокойным любопытством ожидали отцов, супругов и детей) один за другим погасли.

Книга вторая

В густоте дремучего леса, на берегу великого озера Ильменя жил мудрый и благочестивый отшельник Феодосий, дед Марфы-посадницы, некогда знатнейший из бояр новогородских. Он семьдесят лет служил отечеству мечом, советом, добродетелию и наконец захотел служить Богу единому в тишине пустыни, торжественно простился с народом на вече, видел слезы добрых сограждан, слышал сердечные благословения за долговременную новогородскую верность его, сам плакал от умиления и вышел из града. Златая медаль его висела в Софийской церкви, и всякий новый посадник украшался ею в день избрания.

Уже давно он жил в пустыне, и только два раза в год могла приходить к нему Марфа, беседовать с ним о судьбе Новагорода или о радостях и печалях ее сердца. Сошед-

ши с Вадимова места при звуке набата, она спешила к нему с юным Мирославом[1] и нашла его стоящего на коленях пред уединенною хижиною: он совершал вечернее моление. «Молись, добродетельный старец! — сказала она. — Буря угрожает отечеству». — «Знаю», — ответствовал пустынник и с горестию указал рукою на небо[2]. Густая туча висела и волновалась над Новымградом; из глубины ее сверкали красные молнии и вылетали шары огненные. Плотоядные враны станицами парили над златыми крестами храмов, как будто бы в ожидании скорой добычи. Между тем лютые звери страшно выли во мраке леса, и древние сосны, ударяясь ветвями одна об другую, трещали на корнях своих... Марфа твердым голосом сказала пустыннику: «Когда бы все небо запылало и земля, как море, восколебалась под моими ногами, и тогда бы сердце мое не устрашилось: если Новуграду должно погибнуть, то могу ли думать о жизни своей?» Она известила его о происшествии. Феодосий обнял ее с горячностию. «Великая дочь моего сына! — вещал он с умилением. — Последняя отрасль нашего славного рода! В тебе пылает кровь Молинских: она не совсем охладела и в моем сердце, изнуренном летами; посвятив его небу, еще люблю славу и вольность Новаграда... Но слабая рука человеческая отведет ли сокрушительные удары Всевышней десницы? Душа моя содрогается: я предвижу бедствия!..» — «Судьба людей и народов есть тайна Провидения, — ответствует Марфа, — но дела зависят от нас единственно, и сего довольно. Сердца граждан в руке моей: они не покорятся Иоанну, и душа моя торжествует! Самая опасность веселит ее... Чтоб не укорять себя в будущем, потребно только действовать благоразумно в настоящем, избирать лучшее и спокойно ожидать следствий... Многочисленное воинство соберется, готовое отразить врага, но должно поручить его вождю надежному,

---

[1] В Новегороде было еще обыкновение называться древними славянскими именами. Так, например, летописи сохранили нам имя Ратьмира, одного из товарищей Александра Невского.

[2] В старину хотели всегда читать на небе предстоящую гибель людей.

смелому, решительному. Исаак Борецкий[1] во гробе, в сынах моих нет духа воинского, я воспитала их усердными гражданами: они могут умереть за отечество, но единое Небо вливает в сердца то пламенное геройство, которое повелевает роком в день битвы». — «Разве мало славных витязей в Новеграде? — сказал Феодосий. — Ужас Ливонии, Георгий *Смелый...*» — «Переселился к отцам своим». — «Победитель Витовта, Владимир *Знаменитый...*» — «От старости меч выпал из руки его». — «Михаил *Храбрый...*» — «Он враг Иосифа Делинского и Борецких; может ли быть другом отечества?» — «Дмитрий *Сильный...*» — «Сильна рука его, но сердце коварно: он встретил за городом посла Иоаннова и тайно говорил с ним». — «Кто ж будет главою войска и щитом Новаграда?» — «Сей юноша!» — ответствует посадница, указав на Мирослава... Он снял пернатый шлем с головы своей; заря вечерняя и блеск молнии освещали величественную красоту его. Феодосий смотрел с удивлением на юношу.

«Никто не знает его родителей, — говорила Марфа, — он был найден в пеленах на железных ступенях Вадимова места и воспитан в училище Ярослава[2], рано удивлял старцев своею мудростию на вечах, а витязей — храбростию в битвах. Исаак Борецкий умер в его объятиях. Всякий раз, когда я встречалась с ним на стогнах града, сердце мое влеклось дружбою к юноше, и взор мой невольно за ним следовал. Он — сирота в мире, но Бог любит сирых, а Новгород — великодушных. Их именем ставлю юношу на степень величия, их именем вручаю ему судьбу всего, что для меня драгоценнее в свете: вольности и Ксении! Так, он будет супругом моей любезнейшей дочери! Тот, кто опасным и великим саном вождя обратит на себя все стрелы и копья самовластия, мною раздраженного, не должен быть чуждым роду Борецких и крови моей... Я изумила благородное и чувствительное сердце юноши: он клянется победою или смер-

---

[1] Муж ее.

[2] Так называлось всегда главное училище в Новегороде (говорит автор).

тию оправдать меня в глазах сограждан и потомства. Благослови, муж святой и добродетельный, волю нежной матери, которая более Ксении любит одно отечество! Сей союз достоин твоей правнуки: он заключается в день решительный для Новаграда и соединяет ее жребий с его жребием. Супруг Ксении есть или будущий спаситель отечества, или обреченная жертва свободы!»

Феодосий обнял юношу, называя его сыном своим. Они вошли в хижину, где горела лампада. Старец дрожащею рукою снял булатный меч, на стене висевший, и, вручая его Мирославу, сказал: «Вот последний остаток мирской славы в жилище отшельника! Я хотел сохранить его до гроба, но отдаю тебе: Ратьмир, предок мой, изобразил на нем златыми буквами слова: «Никогда врагу не достанется»...» Мирослав взял сей древний меч с благоговением и гордо ответствовал: «Исполню условие!» Марфа долго еще говорила с мудрым Феодосием о силах князя московского, о верных и неверных союзниках Новаграда и сказала наконец юноше: «Возвратимся, буря утихла. Народ покоится в великом граде, но для сердца моего уже нет спокойствия!» Старец проводил их с молитвою.

Восходящее солнце озарило первыми лучами своими на лобном месте посадницу, окруженную народом. Она держала за руку Мирослава и говорила: «Народ! Сей витязь есть небесный дар великому граду. Его рождение скрывается во мраке таинства, но благословение Всевышнего явно ознаменовало юношу. Чем небо отличает своих избранных, когда сей вид геройский, сие чело гордое, сей взор огненный не есть печать любви его? Он питомец отечества, и сердце его сильно бьется при имени свободы. Вам известны подвиги Мирославской храбрости... (Марфа с жаром и красноречием описала их.) Сограждане! — сказала она в заключение. — Кого более всех должен ненавидеть князь московский, тому более всех вы можете верить: *я признаю Мирослава достойным вождем новогородским!..* Самая цветущая молодость его вселяет в меня надежду: счастие ласкает юность!..» Народ поднял вверх руки: Мирослав был избран!.. «Да

здравствует юный вождь сил новогородских!» — восклицали граждане, и юноша с величественным смирением преклонил голову. Бояре и люди житые осенили его своими знаменами. Иосиф Делинский, друг Марфы, вручил юноше златой жезл начальства. Старосты пяти концов новогородских стали пред ним с секирами, и тысячские, громогласно объявив собрание войска, на лобном месте записывали имена граждан для всякой тысячи. Димитрий *Сильный* обнимал Мирослава, называя его своим повелителем, но Михаил *Храбрый*, воин суровый, изъявлял негодование. Народ, раздраженный его укоризнами, хотел смирить гордого, но Марфа и Делинский великодушно спасли его: они уважали в нем достоинство витязя и щадили врага личного, презирая месть и злобу.

Марфа от имени Новаграда написала убедительное и трогательное письмо к союзной Псковской республике. «Отцы наши, — говорила она, — жили всегда в мире и дружбе; у них было *одно* бедствие и счастие, ибо они одно любили и ненавидели. Братья по крови славянской и вере православной, они назывались братьями и по духу народному. Псковитянин в Новегороде забывал, что он не в отчизне своей, и давно уже известна пословица в земле русской: «Сердце на Великой[1], душа на Волхове». Если мы чаще могли помогать вам, нежели вы нам, если страны дальние от нас сведали имя ваше, если условия, заключенные Великим градом с Великою Ганзою, оживили торговлю псковскую, если вы заимствовали его спасительные уставы гражданские и если ни хищность татар, ни властолюбие князей тверских не повредили вашему благоденствию (ибо щит Новаграда осенял друзей его), то хвала единому Небу! Мы не гордимся своими услугами и счастливы только их воспоминанием. Ныне, братья, зовем вас на помощь к себе не для отплаты за добро новогородское, а для собственного вашего блага. Когда рука сильного сразит нас, то и вы не переживете верных друзей своих. Самая покорность не спасет вашего бытия народного: гражданин не угодит самовластителю, пока не будет рабом законным. Уверенные в вашей муд-

---

[1] Имя псковской реки.

рости и любви к общей славе, мы уже назначили пред градом место для верной дружины псковской». Чиновники подписали грамоту, и гонец немедленно отправился с нею.

Трубы и литавры возвестили на Великой площади явление гостей иностранных. Музыканты, в шелковых красных мантиях, шли впереди, за ними граждане десяти вольных городов немецких, по два в ряд, все в богатой одежде, и несли в руках, на серебряных блюдах, златые слитки и камни драгоценные. Они приближились к Вадимову месту и поставили блюда на ступени его. Растгер города Любека *требовал слова* — и сказал народу: «Граждане и чиновники! Вольные люди немецкие сведали, что сильный враг угрожает Новуграду. Мы давно торгуем с вами и хвалимся верностию, славимся приязнию новогородскою; знаем благодарность, умеем помогать друзьям в нужде. Граждане и чиновники! Примите усердные дары добрых гостей иностранных, не столько для умножения казны вашей, сколько для нашей чести. Требуем еще от вас оружия и дозволения сражаться под знаменами новогородскими. Великая Ганза не простила бы нам, если бы мы остались только свидетелями ваших опасностей. Нас семь сот человек в великом граде, все выдем в поле — и клянемся верностию немецкою, что умрем или победим с вами!» Народ с живейшею благодарностию принял такие знаки дружеского усердия. Сам Мирослав роздал оружие гостям чужеземным, которые желали составить особенный легион; Марфа назвала его *дружиною великодушных*, и граждане общим восклицанием подтвердили сие имя.

Уже среди шумных воинских приготовлений день склонялся к вечеру — и юная Ксения, сидя под окном своего девического терема, с любопытством смотрела на движения народные: они казались чуждыми ее спокойному, кроткому сердцу!.. Злополучная!.. Так юный невинный пастырь, еще озаряемый лучами солнца, с любопытством смотрит на сверкающую вдали молнию, не зная, что грозная туча на крыльях бури прямо к нему стремится, грянет и поразит его!.. Воспитанная в простоте древних славянских нравов, Ксения умела наслаж-

даться только одною своею ангельскою непорочностию и ничего более не желала; никакое тайное движение сердца не давало ей чувствовать, что есть на свете другое счастие. Если иногда светлый взор ее нечаянно устремлялся на юношей новогородских, то она краснелась, не зная причины: стыдливость есть тайна невинности и добродетели. Любить мать и свято исполнять ее волю, любить братьев и милыми ласками доказывать им свою нежность было единственною потребностию сей кроткой души. Но судьба неисповедимая захотела ввергнуть ее в мятеж страстей человеческих; прелестная, как роза, погибнет в буре, но с твердостию и великодушием: она была славянка!.. Искра едва на земле светится, сильный ветер развевает из нее пламя.

Отворяется дверь уединенного терема, и служанки входят с богатым нарядом: подают Ксении одежду алую, ожерелье жемчужное, серьги изумрудные, произносят имя матери ее, и дочь, всегда послушная, спешит нарядиться, не зная для чего. Скоро приходит Марфа, смотрит на Ксению, смягчается душою и дает волю слезам материнской горячности... Может быть, тайное предчувствие в сию минуту омрачило сердце ее: может быть, милая дочь казалась ей несчастною жертвою, украшенною для олтаря и смерти! Долго не может она говорить, прижимая любезную, спокойную невинность к пламенной груди своей; наконец укрепилась силою мужества и сказала: «Радуйся, Ксения! Сей день есть счастливейший в жизни твоей, нежная мать избирает тебе супруга, достойного быть ее сыном!..» Она ведет ее в храм Софийский.

Уже народ сведал о сем знаменитом браке, изъявлял радость свою и шумными толпами провожал Ксению, изумленную, встревоженную столь внезапною переменою судьбы своей... Так юная горлица, воспитанная под крылом матери, вдруг видит мирное гнездо свое, разрушенное вихрем, и сама несется им в неизвестное пространство; напрасно хотела бы она слабым усилием нежных крыльев своих противиться стремлению бури... Уже Ксения стоит пред олтарем подле юноши, уже совершается обряд торжественный, уже она — супруга, но еще

не взглянула на того, кто должен быть отныне властелином судьбы ее. О слава священных прав матери и добродетельной покорности дев славянских!.. Сам Феофил[1] благословил новобрачных. Ксения рыдала в объятиях матери, которая, с нежностию обнимая дочь свою и Мирослава, в то же время принимала с величием усердные поздравления чиновников. Иосиф Делинский именем всех граждан звал юношу в дом Ярославов. «Ты не имеешь родителей, — говорил он, — отечество признает тебя великим сыном своим, и главный защитник прав новогородских да живет там, где князь добродетельный утвердил их своею печатию и где Новгород желает ныне угостить новобрачных!..» — «Нет, — ответствовала Марфа, — еще меч Иоаннов не преломился о щит Мирослава или не обагрился его кровию за Новгород!.. — И тихо примолвила: — О верный друг Борецких! Хотя в сей день, в последний раз, да буду матерью одна среди моего семейства!» Она вышла из храма с детьми своими. Чиновники не дерзали следовать за нею, и народ дал новобрачным дорогу, жены знаменитые усыпали ее цветами до самых ворот посадницы. Мирослав вел нежную, томную Ксению (и Новгород никогда еще не видал столь прелестной четы) — впереди Марфа — за нею два сына ее. Музыканты чужеземные шли вдали, играя на своих гармонических орудиях. Граждане забыли опасность и войну, веселие сияло на лицах, и всякий отец, смотря на величественного юношу, гордился им, как сыном своим, и всякая мать, видя Ксению, хвалилась ею, как милою своею дочерью. Марфа веселилась усердием народным: облако всегдашней задумчивости исчезло в глазах ее, она взирала на всех с улыбкою приветливой благодарности.

С самой кончины Исаака Борецкого дом его представлял уныние и пустоту горести: теперь он снова украшается коврами драгоценными и богатыми тканями немецкими, везде зажигаются светильники серебряные, и верные слуги Борецких радостными толпами встречают новобрачных. Марфа садится за стол с детьми своими; лас-

---

[1] Тогдашний епископ новогородский.

кает их, целует Ксению и всю душу свою изливает в искренних разговорах. Никогда милая дочь ее не казалась ей столь любезною. «Ксения! — говорит она. — Нежное, кроткое сердце твое узнает теперь новое счастие, любовь супружескую, которой все другие чувства уступают. В ней жена малодушная, осужденная роком на одни жалобы и слезы в бедствиях, находит твердость и решительность, которой могут завидовать герои!.. О дети любезные! Теперь открою вам тайну моего сердца!.. — Она дала знак рукою, и многочисленные слуги удалились. — Было время, и вы помните его, — продолжала Марфа, — когда мать ваша жила единственно для супруга и семейства в тишине дома своего, боялась шума народного и только в храмы священные ходила по стогнам, не знала ни вольности, ни рабства, не знала, повинуясь сладкому закону любви, что есть другие законы в свете, от которых зависит счастие и бедствие людей. О время блаженное! Твои милые воспоминания извлекают еще нежные слезы из глаз моих!.. Кто ныне узнает мать вашу? Некогда робкая, боязливая, уединенная, с смелою твердостию председает теперь в совете старейшин, является на лобном месте среди народа многочисленного, велит умолкнуть тысячам, говорит на вече, волнует народ, как море, требует войны и кровопролития — та, которую прежде одно имя их ужасало!.. Что ж действует в душе моей? Что пременило ее столь чудесно? Какая сила дает мне власть над умами сограждан? Любовь!.. Одна любовь... к отцу вашему, сему герою добродетели, который жил и дышал отечеством!.. Готовый выступить в поле против литовцев, он казался задумчивым, беспокойным; наконец открыл мне душу свою и сказал: «Я могу положить голову в сей войне кровопролитной; дети наши еще младенцы; с моею смертию умолкнет голос Борецких на вече, где он издревле славил вольность и воспалял любовь к отечеству. Народ слаб и легкомыслен: ему нужна помощь великой души в важных и решительных случаях. Я предвижу опасности, и всех опаснее для нас князь московский, который тайно желает покорить Новгород. О друг моего сердца! Успокой его! Летописи древние сохранили имена некоторых великих жен сла-

вянских: клянись мне превзойти их! Клянись заменить Исаака Борецкого в народных советах, когда его не будет на свете! Клянись быть вечным врагом неприятелей свободы новогородской, клянись умереть защитницею прав ее! И тогда умру спокойно...» Я дала клятву... Он погиб вместе с моим счастием... Не знаю, катились ли из глаз моих слезы на гроб его; я не о слезах думала, но, обожав супруга, пылала ревностию воскресить в себе душу его. Мудрые предания древности, языки чужеземные, летописи народов вольных, опыты веков просветили мой разум. Я говорила — и старцы с удивлением внимали словам моим, народ добродушный, осыпанный моими благодеяниями, любит и славит меня, чиновники имеют ко мне доверенность, ибо думаю только о славе Новаграда; враги и завистники... Но я презираю их. Все видят дела мои, но вы, однако, знаете теперь их тайный источник. О Ксения! Я могу служить тебе примером, но ты, юноша, избранный сын моего сердца, желай только сравняться с отцом ее. Он любил супругу и детей своих, но с радостию предал бы нас в жертву отечеству. Гордость, славолюбие, героическая добродетель есть свойство великого мужа: жена слабая бывает сильна одною любовию, но, чувствуя в сердце ее небесное вдохновение, она может превзойти великодушием самых великих мужей и сказать року: «Не страшусь тебя!» Так Ольга любовию к памяти Игоря заслужила бессмертие; так Марфа будет удивлением потомства, если злословие не омрачит дел ее в летописях!..»

Она благословила детей и заключилась в уединенном своем тереме, но сон не смыкал глаз ее. В самую глубокую полночь Марфа слышит тихий стук у двери, отворяет ее — и входит человек сурового вида, в одежде нерусской, с длинным мечом литовским, с златою на груди звездою, едва наклоняет свою голову, объявляет себя тайным послом Казимира и представляет Марфе письмо его. Она с гордою скромностию ответствует: «Жена новогородская не знает Казимира; я не возьму грамоты». Хитрый поляк хвалит героиню великого града, известную в самых отдаленных странах, уважаемую царями и народами. Он уподобляет ее великой дочери Краковой и

называет *новогородскую Вандою...*[1] Марфа внимает ему с равнодушием. Поляк описывает ей величие своего государя, счастие союзников и бедствие врагов его... Она с гордостию садится. «Казимир великодушно предлагает Новугороду свое заступление, — говорит он, — требуйте, и легионы польские окружат вас своими щитами!..» Марфа задумалась... «Когда же спасем вас, тогда...» Посадница быстро взглянула на него... «Тогда благодарные новогородцы должны признать в Казимире своего благотворителя — и властелина, который, без сомнения, не употребит во зло их доверенности...» — «Умолкни!» — грозно восклицает Марфа. Изумленный пылким ее гневом, посол безмолвствует, но, устыдясь робости своей, возвышает голос и хочет доказать необходимую гибель Новагорода, если Казимир не защитит его от князя московского... «Лучше погибнуть от руки Иоанновой, нежели спастись от вашей! — с жаром ответствует Марфа. — Когда вы не были лютыми врагами народа русского? Когда мир надеялся на слово польское? Давно ли сам неверный Амурат удивлялся вероломству вашему?[2] И вы дерзаете мыслить, что народ великодушный захочет упасть на колена пред вами? Тогда бы Иоанн справедливо укорял нас изменою. Нет! Если угодно Небу, то мы падем с мечом в руке пред князем московским: одна кровь течет в жилах наших; русский может покориться русскому, но чужеземцу — никогда, никогда!.. Удались немедленно, и если восходящее солнце осветит тебя еще в стенах новогородских, ты будешь выслан с бесчестием. Так, Марфа любима народом своим, не она велит ему ненавидеть Литву и Польшу... Вот ответ Казимиру!»

Посол удалился.

На другой день Новгород представил вместе и грозную деятельность воинского стана, и великолепие народного пиршества, данного Марфою в знак ее семейственной радости. Стук оружия раздавался на стогнах. Везде

---

[1] О сей королеве польские летописи рассказывают чудеса.

[2] Сие происшествие было тогда еще ново. Владислав, король польский, едва заключив торжественный мир с султаном, нечаянно напал на его владения.

являлись граждане в шлемах и в латах; старцы сидели на Великой площади и рассказывали о битвах юношам неопытным, которые вокруг их толпились, и еще в первый раз видели на себе доспехи блестящие. В то же время бесчисленные столы накрывались вокруг места Вадимова: ударили в колокол, и граждане сели за них; воины клали подле себя оружие и пировали. Рука изобилия подавала яства. Борецкие угощали народ с восточною роскошию. Мирослав и Ксения ходили вокруг столов и просили граждан веселиться. Юный полководец ласково говорил с ними, юная супруга его кланялась им приветливо. В сей день новогородцы составляли одно семейство: Марфа была его матерью. Она садилась за всяким столом, называла граждан своими гостями любезными, служила им, дружески беседовала с ними, хотела казаться равною со всеми и казалась царицею. Громогласные изъявления усердия и радости встречали и провожали ее; когда она говорила, все безмолвствовали; когда молчала, все говорить хотели, чтобы славить и величать посадницу. За первым столом и в первом месте сидел древнейший из новогородских старцев, которого отец помнил еще Александра Невского: внук с седою брадою принес его на пир народный. Марфа подвела к нему новобрачных: он благословил их и сказал: «Живите мои лета, но не переживайте славы Новогородской!..» Сама посадница налила ему серебряный кубок вина фряжского: старец выпил его, и томная кровь начала быстрее в нем обращаться. «Марфа! — говорил он. — Я был свидетелем твоего славного рождения на берегу Невы. Храбрый Молинский занемог в стане: войско не хотело сражаться до его выздоровления. Мать твоя спешила к нему из великого града, и когда мы разили немецких рыцарей — когда родитель твой, еще бледный и слабый, мечом своим указывал нам путь к их *святому прапору*, ты родилась. Первый вопль твой был для нас гласом победы, но Молинский упал мертвый на тело великого магистра Рудольфа, им сраженного!.. Финский волхв, живший тогда на берегу Невы, пророчествовал, что судьба твоя будет славна, но...» Старец умолк. Марфа не хотела изъявить любопытства.

Все чиновники вместе с нею и детьми ее служили народу. Гости иностранные украсили Великую площадь разноцветными пирамидами, изобразив на них имена и гербы вольных городов немецких. Вокруг пирамид в больших корзинах лежали товары чужеземные: Марфа дарила их народу. Мраморный образ Вадимов был увенчан искусственными лаврами; на щите его вырезал Делинский имя Мирослава: граждане, увидев то, воскликнули от радости, а Марфа с чувствительностию обняла своего друга. Все новогородцы ликовали, не думая о будущем; один Михаил *Храбрый* не хотел брать участия в народном веселии, сидел в задумчивости подле Вадимовой статуи и в безмолвии острил меч на ее подножии. Пиршество заключилось ввечеру потешными огнями.

Скоро гонец возвратился из Пскова и на лобном месте вручил грамоту степенному посаднику. Он читал — и с печальным видом отдал письмо Марфе... «Друзья! — сказала она знаменитым гражданам. — Псковитяне, как добрые братья, желают Новугороду счастия, — так говорят они, — только дают нам советы, а не войско, — и какие советы? Ожидать всего от Иоанновой милости!..» — «Изменники!» — воскликнули все граждане. «Недостойные!» — повторяли гости чужеземные. «Отомстим им!» — говорил народ. «Презрением!» — ответствовала Марфа, изорвала письмо и на отрывке его написала ко псковитянам: «Доброму желанию не верим, советом гнушаемся, а без войска вашего обойтися можем».

Новгород, оставленный союзниками, еще с большею ревностию начал вооружаться. Ежедневно отправлялись гонцы в его области[1] с повелением высылать войско. Жители берегов Невских, великого озера Ильменя, Онеги, Мологи, Ловати, Шелоны один за другими являлись в общем стане, в который Мирослав вывел граждан новогородских. Усердие, деятельность и воинский разум сего юного полководца удивляли самых опытных витязей. Он встречал на коне солнце, составлял легионы, приучал их к стройному шествию, к быстрым движениям и стре-

---

[1] Они назывались пятинами: Водскою, Обонежскою, Бежецкою, Деревскою, Шелонскою.

мительному нападению в присутствии жен новогородских, которые с любопытством и тайным ужасом смотрели на сей образ битвы. Между станом и вратами Московскими возвышался холм; туда обращался взор Мирослава, как скоро порыв ветра рассевал облака пыли: там стояла обыкновенно вместе с матерью прелестная Ксения, уже страстная, чувствительная супруга... Сердце невинное и скромное любит тем пламеннее, когда оно, следуя закону божественному и человеческому, навек отдается достойному юноше. Жены славянские издревле славились нежностию. Ксения гордилась Мирославом, когда он блестящим махом меча своего приводил все войско в движение, летал орлом среди полков — восклицал и единым словом останавливал быстрые тысячи; но чрез минуту слезы катились из глаз ее. Она спешила отирать их с милою улыбкою, когда мать на нее смотрела. Часто Марфа сходила с высокого холма и в шумном замешательстве терялась между бесчисленными рядами воинов.

Пришло известие, что Иоанн уже спешит к великому граду с своими храбрыми, опытными легионами. Еще из дальних областей новогородских, от Каргополя и Двины, ожидали войска, но верховный совет дал вождю повеление, и Мирослав сорвал покров с *хоругви отечества*... Она возвеялась, и громкое восклицание раздалося: «Друзья! В поле!» Сердца родителей и супруг затрепетали. Тысячи колеблются и выступают: первая и вторая состояли из знаменитых граждан новогородских и людей житых; одежда их отличалась богатством, оружие — блеском, осанка — благородством, а сердца — пылкостию; каждый из них мог уже славиться делами мужества или почтенными ранами. Михаил *Храбрый* шел наряду с другими, как простой воин. Юный Мирослав взял его за руку, вывел вперед и сказал: «Честь витязей! Повелевай сими мужами знаменитыми!» Михаил хотел взглянуть на него с гордостию, но взор его изъявил чувствительность... «Юноша! Я — враг Борецких!..» — «Но друг славы новогородской!» — ответствовал Мирослав, и витязь обнял его, сказав: «Ты хочешь моей смерти!» За сим легионом шла *дружина великодуш-*

ных, под начальством ратсгера любекского. Знамя их изображало две соединенные руки над пылающим жертвенником, с надписью: «Дружба и благодарность!» Они вместе с новогородцами составляли *большой полк*, онежцы и волховцы — *передовой*, жители Деревской области — *правую*, шелонские — *левую руку*, а невские — *стражу*[1]. Мирослав велел войску остановиться на равнине... Марфа явилась посреди его и сказала:

«Воины! В последний раз да обратятся глаза ваши на сей град, славный и великолепный: судьба его написана теперь на щитах ваших! Мы встретим вас со слезами радости или отчаяния, прославим героев или устыдимся малодушных. Если возвратитесь с победою, то счастливы и родители и жены новогородские, которые обнимут детей и супругов, если возвратитесь побежденные, то будут счастливы сирые, бесчадные и вдовицы!.. Тогда живые позавидуют мертвым!

О воины великодушные! Вы идете спасти отечество и навеки утвердить благие законы его; вы любите тех, с которыми должны сражаться, но почто же ненавидят они величие Новаграда? Отразите их — и тогда с радостию примиримся с ними!

Грядите — не с миром, но с войной для мира! Доныне Бог любил нас, доныне говорили народы: «Кто против Бога и великого Новаграда!» Он с вами: грядите!»

Заиграли на трубах и литаврах. Мирослав вырвался из объятий Ксении. Марфа, возложив руки на юношу, сказала только: «Исполни мою надежду». Он сел на гордого коня, блеснул мечом — и войско двинулось, громко взывая: «Кто против Бога и великого Новаграда!»

Знамена развевались, оружие гремело и сверкало, земля стонала от конского топота — и в облаках пыли сокрылись грозные тысячи.

Жены новогородские не могли удержать слез своих, но Ксения уже не плакала и с твердостию сказала матери: «Отныне ты будешь моим примером!»

---

[1] Так разделялись тогда армии. Большим полком назывался главный корпус, а стражею, или сторожевым полком, — ариергард.

Еще много жителей осталось в великом граде, но тишина, которая в нем царствует по отходе войска, скрывает число их. *Торговая сторон*[1] опустела: уже иностранные гости не раскладывают там драгоценных своих товаров для прельщения глаз; огромные хранилища, наполненные богатством земли русской, затворены; не видно никого на *месте княжеском*, где юноши любили славиться искусством и силою в разных играх богатырских — и Новгород, шумный и воинственный за несколько дней пред тем, кажется великою обителию мирного благочестия. Все храмы отворены с утра до полуночи; священники не снимают риз, свечи не угасают пред образами, фимиам беспрестанно курится в кадилах, и молебное пение не умолкает на крылосах, народ толпится в церквах, старцы и жены преклоняют колена. Робкое ожидание, страх и надежда волнуют сердца, и люди, встречаясь на стогнах, не видят друг друга... Так народ дерзко зовет к себе опасности издали, но, видя их вблизи, бывает робок и малодушен! Одни чиновники кажутся спокойными — одна Марфа тверда душою, деятельна в совете, словоохотна на Великой площади среди граждан и весела с домашними. Юная Ксения не уступает матери в знаках наружного спокойствия, но только не может разлучиться с нею, укрепляясь в душе видом ее геройской твердости. Они вместе проводят дни и ночи. Ксения ходила с матерью даже в совет верховный.

Первый гонец Мирославов нашел их в саду: Ксения поливала цветы — Марфа сидела под ветвями древнего дуба в глубоком размышлении. Мирослав писал, что войско изъявляет жаркую ревность, что все именитые витязи уверяют его в дружбе и всех более Димитрий *Сильный*, что Иоанн соединил полки свои с тверскими и приближается, что славный воевода московский Василий Образец идет впереди и что Холмский есть главный по князе начальник. Второй гонец привез известие, что новогородцы разбили отряд Иоаннова войска и взяли в плен пятьдесят московских дворян. С третьим Мирослав написал только одно слово: «Сражаемся». Тут сердце

---

[1] Часть города, где жили купцы.

Марфы наконец затрепетало: она спешила на Великую площадь, сама ударила в *вечевой колокол*, объявила гражданам о начале решительной битвы, стала на Вадимовом месте, устремила взор на московскую дорогу и казалась неподвижною. Солнце восходило... Уже лучи его пылали, но еще не было никакого известия. Народ ожидал в глубоком молчании и смотрел на посадницу. Уже наступил вечер... И Марфа сказала: «Я вижу облако пыли». Все руки поднялись к небу... Марфа долго не говорила ни слова... Вдруг, закрыв глаза, громко воскликнула: «Мирослав убит! Иоанн — победитель!» — и бросилась в объятия к несчастной Ксении.

Книга третия

Марфа с высокого места Вадимова увидела рассеянные тысячи бегущих и среди них колесницу, осененную знаменами: так издревле возили новогородцы тела убитых вождей своих...

Безмолвие мужей и старцев в великом граде было ужаснее вопля жен малодушных... Скоро посадница ободрилась и велела отпереть врата Московские. Беглецы не смели явиться народу и скрывались в домах. Колесница медленно приближалась к Великой площади. Вокруг ее шли, потупив глаза в землю — с горестию, но без стыда, — люди житые и воины чужеземные; кровь запеклась на их оружии; обломанные щиты, обрубленные шлемы показывали следы бесчисленных ударов неприятельских. Под сению знамен, над телом вождя, сидел Михаил *Храбрый*, бледный, окровавленный; ветер развевал его черные волосы, и томная глава склонялась ко груди.

Колесница остановилась на Великой площади... Граждане обнимали воинов, слезы текли из глаз их. Марфа подала руку Михаилу с видом сердечного дружелюбия; он не мог идти: чиновники взнесли его на железные ступени Вадимова места. Посадница открыла тело убитого Мирослава... На бледном лице его изображалось вечное спокойствие смерти... «Счастливый юноша!» —

произнесла она тихим голосом и спешила внимать *Храброму* Михаилу. Ксения обливала слезами хладные уста своего друга, но сказала матери: «Будь покойна: я дочь твоя!»

На щитах посадили витязя, от ран ослабшего, но он собрал изнуренные силы, поднял томную голову, оперся на меч свой и вещал твердым голосом:

«Народ и граждане! Разбито воинство храброе, убит полководец великий! Небо лишило нас победы — не славы!

На берегах Шелоны мы встретились с Иоанном. Его именем князь Холмский требовал тайного свидания с Мирославом. «Увидимся на поле ратном!» — ответствовал гордый юноша — и стройно поставил воинство. Онежцы первые вступили в бой на высотах Шелонских: там Образец, славный воевода московский, принял их удары на щит свой... Мы шли в средине, тихо и в безмолвии. Мирослав впереди наблюдал движения и силу врагов. Воинство Иоанново было многочисленнее нашего; необозримые ряды его теснились на равнине. Мы видели князя московского на белом коне, видели, как он распоряжал легионы и блестящим мечом своим указывал на сердце Новгородское, на *хоругвь отечества*, видели князя Холмского, с сильным отрядом идущего окружить нас... Мирослав повелел, и стража невская с Димитрием *Сильным* двинулась навстречу к нему. Вероломный!.. Еще онежцы и волховцы не могли занять бугров шелонских: меч витязя Образца дымился их кровию. Мирослав, пылая нетерпением, летел туда на бурном коне своем: мы взглянули — и знамена новогородские уже развевались на холмах — и волховцы на щитах своих подняли вверх тело убитого начальника московского. Тогда, воскликнув громогласно: «Кто против Бога и великого Новаграда?», все ряды наши устремились в битву и сразились... На сей равнине затрещало оружие, и кровь полилась рекою. Я видал битвы, но никогда такой не видывал. Грудь русская была против груди русской, и витязи с обеих сторон хотели доказать, что они славяне. Взаимная злоба братий есть самая ужасная!.. Тысячи падали, но первые ряды казались целы и невре-

димы: каждый пылал ревностию заступить место убитого и безжалостно попирал ногою труп своего брата, чтобы только отмстить смерть его. Воины Иоанновы стояли твердынею непоколебимою, новогородские стремились на них, как бурные волны. Одни сражались за честь, другие за честь и вольность: мы шли вперед!.. за полководцем нашим, который искал взором Иоанна. Князь московский был окружен знаменитыми витязями; Мирослав рассек сию крепкую ограду — поднял руку — и медлил. Сильный оруженосец Иоаннов ударил его мечом в главу, и шлем распался на части: он хотел повторить удар, но сам Иоанн закрыл Мирослава щитом своим. Опасность вождя удвоила наши силы — и скоро главная дружина московская замешалась. Новогородцы воскликнули победу, но в то же мгновение имя Иоанново гремело за нами... Мы с удивлением обратили взор: князь Холмский с тылу разил левое крыло новогородское... Димитрий изменил согражданам!.. Не исполнил повелений вождя, завел стражу в непроходимые блата, не встретил врага и дал ему время окружить наше войско. Мирослав спешил ободрить изумленных шелонцев: он помог им только умереть великодушнее! Герой сражался без шлема, но всякий усердный воин новогородский служил ему щитом. Он увидел Димитрия среди московской дружины — последним ударом наказал изменника и пал от руки Холмского, но, падая на берегу Шелоны, бросил меч свой в быстрые воды ее...»

Тут ослабел голос Михаила, взор помрачился облаком, бледные уста онемели, меч выпал из руки его, он затрепетал — взглянул на образ Вадимов и закрыл навеки глаза свои... Чиновники положили тело его на колесницу, рядом с Мирославовым.

«Народ! — сказал Александр *Знаменитый*, старший из витязей, — благослови память Михаила! Он вышел из битвы с *хоругвию отечества*, с телом Мирослава, обагренный кровью бесчисленных врагов и собственною, собрал остатки храбрых людей житых, *дружины великодушных* и в самом бедствии казался грозным Иоанну — враги видели нас еще не мертвых и стояли неподвижно. Радость победы изображалась на их лицах вместе с ужа-

сом: они купили ее смертию славнейших московских витязей. Народ и чиновники! Многие новогородцы погибли славно: радуйтесь! Некоторые спаслися бегством: презирайте малодушных! Мы живы, но не стыдимся! Сочтите знаменитых граждан: их осталось менее половины, все они легли вокруг *хоругви отечества*». — «Сочтите нас! — сказал начальник *дружины великодушных*, — из семи сот чужеземных братий новогородских видите третию часть: все они легли вокруг Мирослава».

«Убиты ли сыны мои?» — спросила Марфа с нетерпением. «Оба», — ответствовал Александр *Знаменитый*[1] с горестию. «Хвала Небу! — сказала посадница. — Отцы и матери новогородские! Теперь я могу утешать вас!.. Но прежде, о народ, будь строгим, неумолимым судиею и реши судьбу мою! Унылое молчание царствует на Великой площади; я вижу знаки отчаяния на многих лицах. Может быть, граждане сожалеют о том, что они не упали на колена пред Иоанном, когда Холмский объявил нам волю его властвовать в Новегороде; может быть, тайно обвиняют меня, что я хотела оживить в сердцах гордость народную!.. Пусть говорят враги мои, и если они докажут, что сердца новогородские не ответствуют моему сердцу, что любовь к свободе есть преступление для гражданки вольного отечества, то я не буду оправдываться, ибо славлюсь моею виною и с радостию кладу голову свою на плаху. Пошлите ее в дар Иоанну и смело требуйте его милости!..»

«Нет, нет! — воскликнул народ в живейшем усердии. — Мы хотим умереть с тобою! Где враги твои? Где друзья Иоанновы? Пусть говорят они: мы пошлем их головы к князю московскому!» Отцы, которые лишились детей в битве шелонской, тронутые великодушием Марфы, целовали одежду ее и говорили: «Прости нам! Мы плакали!..» Слезы текли из глаз Марфы. «Народ! — сказала она. — С такою душою ты еще не побежден Иоанном! Нет величия без опасностей и бедствия; Небо искушает ими любимцев своих. Бывали тучи над великим

---

[1] В летописях сказано, что сын ее Димитрий был взят в плен.

градом, но отцы наши не опускали мечей, и мы родились свободными. Издревле счастие воинское славится превратностию. Новгород видал тела полководцев на лобном месте, видал надменного врага пред стенами своими: кто ж входил в них доныне! Одни друзья его. Народ великодушный! Будь тверд и спокоен! Еще не все погибло! Борецкая жива и говорит с тобою! Когда железные ступени перестанут звучать под ногами моими, когда взор твой в час решительный напрасно будет искать меня на Вадимовом месте, когда в глубокую ночь погаснет лампада в моем высоком тереме и не будет уже для тебя зна́ком, что Марфа при свете ее мыслит о благе Новаграда, тогда, тогда скажи: «Все погибло!..» Теперь, друзья сограждане, воздадим последнюю честь вождю Мирославу и витязю Михаилу! Чиновники ваши пекутся о безопасности града». Она дала знак рукою, и колесница тронулась. Чиновники и народ проводили ее до Софийского храма. Феофил с духовенством встретил их. Степенный посадник и тысячский положили тела во гробы.

Глубокая ночь наступила. Никто не мыслил успокоиться в великом граде. Чиновники поставили стражу и заключились в доме Ярослава для совета с Марфою. Граждане толпились на стогнах и боялись войти в домы свои — боялись вопля жен и матерей отчаянных. Утомленные воины не хотели отдохновения, стояли пред Вадимовым местом, облокотясь на щиты свои, и говорили: «Побежденные не отдыхают!» Ксения молилась над телом Мирослава.

На заре утренней раздалось святое пение в Софийском храме. Гробы витязей были открыты. Марфа, Ксения, старец, родитель Михаилов, и воины с окровавленными знаменами окружали их. Горесть изображалась на лицах, никто не дерзал стенать и плакать. Иосиф Делинский именем Новаграда положил во гробы *хартию* славы!..[1] Их опустили в землю под веянием *хоругви отечества*. Посадница стала на могилу; она держала в руке цветы и говорила: «Честь и слава храбрым! Стыд и по-

---

[1] На сих хартиях (говорит автор) изображались славные дела усопшего.

ношение робким! Здесь лежат знаменитые витязи: совершились их подвиги; они успокоились в могиле и ничем уже не должны отечеству, но отечество должно им вечною благодарностию. О воины новогородские! Кто из вас не позавидует сему жребию! Храбрые и малодушные умирают: блажен, о ком жалеют верные сограждане и чьею смертию они гордятся! Взгляните на сего старца, родителя Михаилова: согбенный летами и болезнями, бесчадный при конце жизни, он благодарит Небо, ибо Новгород погребает великого сына его. Взгляните на сию вдовицу юную: брачное пение соединилось для нее с гимнами смерти, но она тверда и великодушна, ибо ее супруг умер за отечество... Народ! Если Всевышнему угодно сохранить бытие твое, если грозная туча рассеется над нами и солнце озарит еще торжество свободы в Новегороде, то сие место да будет для тебя священно! Жены знаменитые да украшают его цветами, как я теперь украшаю ими могилу любезнейшего из сынов моих... (Марфа рассыпала цветы)... и витязя храброго, некогда врага Борецких, но тень его примирилась со мною: мы оба любили отечество!.. Старцы, мужи и юноши да славят здесь кончину героев и да клянут память изменника Димитрия!» — «Клятва, вечная клятва его имени и роду!» — воскликнули все чиновники и граждане, — и брат Димитрия упал мертвый в толпе народной, — и супруга его отчаянная бросилась в шумную глубину Волхова.

Уже легионы Иоанновы приближались к великому граду и медленно окружали его: народ с высоких стен смотрел на их грозные движения. Уже белый шатер княжеский, златым шаром увенчанный, стоял пред вратами Московскими — и степенный тысячский отправился послом к Иоанну. Новогородцы, готовые умереть за вольность, тайно желали сохранить ее миром. Марфа знала сердца народные, душу великого князя и спокойно ожидала его ответа. Тысячский возвратился с лицом печальным: она велела ему объявить всенародно успех посольства... «Граждане! — сказал он. — Ваши мудрые чиновники думали, что князь московский хотя и победитель, но самою победою, трудною и случайною, уверенный в

великодушии новогородском, может еще примириться с нами... Бояре ввели меня в шатер Иоанна... Вы знаете его величие: гордым взором и повелительным движением руки он требовал от меня знаков рабского унижения... «Князь Московский! — я вещал ему. — Новгород еще свободен! Он желает мира, не рабства. Ты видел, как мы умираем за вольность: хочешь ли еще напрасного кровопролития? Пощади своих витязей: отечеству русскому нужна сила их. Если казна твоя оскудела, если богатство новогородское прельщает тебя — возьми наши сокровища: завтра принесем их в стан твой с радостию, ибо кровь сограждан нам драгоценнее злата, но свобода и самой крови нам драгоценнее. Оставь нас только быть счастливыми под древними законами, и мы назовем тебя своим благотворителем, скажем: «Иоанн мог лишить нас верховного блага и не сделал того; хвала ему». Но если не хочешь мира с людьми свободными, то знай, что совершенная победа над ними должна быть их истреблением, а мы еще дышим и владеем оружием; знай, что ни ты, ни преемники твои не будут уверены в искренней покорности Новаграда, доколе древние стены его не опустеют или не примут в себя жителей, чуждых крови нашей!» — «Покорность без условия или гибель мятежникам!» — ответствовал Иоанн и с гневом отвратил лицо свое. — Я удалился».

Марфа предвидела действие: народ в страшном озлоблении требовал полководца и битвы. Александру *Знаменитому* вручили жезл начальства — и битвы начались...

Дела славные и великие! Одни русские могли с обеих сторон так сражаться, могли так побеждать и быть побеждаемы. Опытность, хладнокровие мужества и число благоприятствовали Иоанну; пылкая храбрость одушевляла новогородцев, удвояла силы их, заменяла опытность; юноши, самые отроки становились в ряды на место убитых мужей, и воины московские не чувствовали ослабления в ударах противников. С торжеством возглашалось имя великого князя: иногда, хотя и редко, имя вольности и Марфы бывало также радостным кликом победителей (ибо вольность и Марфа одно знамено-

вали в великом граде). Часто Иоанн, видя славную гибель упорных новогородцев, восклицал горестно: «Я лишаюсь в них достойных моего сердца подданных!» Бояре московские советовали ему удалиться от града, но великая душа его содрогалась от мысли уступить непокорным. «Хотите ли, — он с гневом ответствовал, — хотите ли, чтобы я венец Мономаха положил к ногам мятежников?..» И суровые муромцы, жители темных лесов, усердные владимирцы спешили к нему на вспоможение. Три раза обновлялась *дружина княжеская*, из храбрых дворян состоящая, и знамена ее (на которых изображались слова: «С нами Бог и государь!») дымились кровью.

Как Иоанн величием своим одушевлял легионы московские, так Марфа в Новегороде воспаляла умы и сердца. Народ, часто великодушный, нередко слабый, унывал духом, когда новые тысячи приходили в стан княжеский. «Марфа! — говорил он. — Кто наш союзник? Кто поможет великому граду?..» — «Небо, — ответствовала посадница. — Влажная осень наступает, блата, нас окружающие, скоро обратятся в необозримое море, всплывут шатры Иоанновы, и войско его погибнет или удалится». Луч надежды не угасал в сердцах, и новогородцы сражались. Марфа стояла на стене, смотрела на битвы и держала в руке *хоругвь отечества*; иногда, видя отступление новогородцев, она грозно восклицала и махом святой хоругви обращала воинов в битву. Ксения не разлучалась с нею и, видя падение витязей, думала: «Так пал Мирослав любезный!» Казалось, что сия невинная, кроткая душа веселилась ужасами кровопролития — столь чудесно действие любви! Сии ужасы живо представляли ей кончину друга: Ксения всего более хотела и любила заниматься ею. Она знала Холмского по его оружию и доспехам, обагренным кровию Мирослава; огненный взор ее звал все мечи, все удары новогородские на главу московского полководца, но железный щит его отражал удары, сокрушал мечи, и рука сильного витязя опускалась с тяжкими язвами и гибелию на смелых противников. Александр *Знаменитый* с веселием спешил на ратное поле, с видом горести возвращался; он предвидел неминуемое бедствие отечества, искал только слав-

ной смерти и нашел ее среди московской дружины. С того времени одни храбрые юноши заступали место вождей новогородских, ибо юность всего отважнее. Никто из них не умирал без славного дела.

В одну ночь степенный посадник собрал знатнейших бояр на думу — и при восходе солнца ударили в *вечевой колокол*. Граждане летели на Великую площадь, и все глаза устремились на Вадимово место: Марфа и Ксения вели на его железные ступени пустынника Феодосия. Народ общим криком изъявил свое радостное удивление. Старец взирал на него дружелюбно, обнимал знатных чиновников — и сказал, подняв руки к небу: «Отечество любезное! Приими снова в недра свои Феодосия!.. В счастливые дни твои я молился в пустыне, но братья мои гибнут, и мне должно умереть с ними, да совершится клятвенный обет моей юности и род Молинских!..» Иосиф Делинский, провождаемый тысячскими и боярами, несет златую цепь из Софийского храма, возлагает ее на старца и говорит ему: «Будь еще посадником великого града! Исполни усердное желание верховного совета! С радостию уступаю тебе мое достоинство: я могу владеть оружием; могу умереть в поле!.. Народ! Объяви волю свою!..» — «Да будет! Да будет!» — громогласно ответствовали граждане, и Марфа сказала: «О славное торжество любви к отечеству! Старец, которого Новгород уже давно оплакал, как мертвого, воскресает для его служения! Отшельник, который в тишине пустыни и земных страстей забыл уже все радости и скорби человека, вспомнил еще обязанности гражданина: оставляет мирную пристань и хочет делить с нами опасности времен бурных! Народ и граждане! Можете ли отчаиваться? Можете ли сомневаться в небесной благости, когда небо уступает нам своего избранного, когда столетняя мудрость и добродетель будет председать в верховном совете? Возвратился Феодосий: возвратится и благоденствие, которым вы некогда под его мудрым правлением наслаждались. Тогда воспоминание минувших бедствий, искусивших твердость сердец новогородских, обратится в славу нашу, и мы будем тем счастливее, ибо слава есть счастие великих народов!»

Делинский и Марфа убедили Феодосия торжественно явиться в великом граде; они думали, что сия нечаянность сильно подействует на воображение народа, и не обманулись. Граждане лобызали руки старца, подобно детям, которые в отсутствие отца были несчастливы и надеются, что опытная мудрость его прекратит беды их. Долговременное уединение и святая жизнь напечатлели на лице Феодосия неизъяснимое величие, но он мог служить отечеству только усердными обетами чистой души своей — и бесполезными, ибо суды Вышнего непременны!

Новый посадник, следуя дневнему обыкновению, должен был угостить народ: Марфа приготовила великолепное пиршество, и граждане еще дерзнули веселиться! Еще дух братства оживил сердца! Они веселились на могилах, ибо каждый из них уже оплакал родителя, сына или брата, убитых на Шелоне и во время осады кровопролитной. Сие минутное счастливое забвение было последним благодеянием судьбы для новогородцев.

Скоро открылось новое бедствие, скоро в великом граде, лишенном всякого сообщения с его областями хлебородными, житницы народные, знаменитых граждан и гостей чужеземных опустели. Еще несколько времени усердие к отечеству терпеливо сносило недостаток: народ едва питался и молчал. Осень наступала, ясная и тихая. Граждане всякое утро спешили на высокие стены и видели — шатры московские, блеск оружия, грозные ряды воинов; все еще думали, что Иоанн удалится, и малейшее движение в его стане казалось им верным знаком отступления... Так надежда возрастает иногда с бедствием, подобно светильнику, который, готовясь угаснуть, расширяет пламя свое... Марфа страдала во глубине души, но еще являлась народу в виде спокойного величия, окруженная символами изобилия и дарами земными: когда ходила по стогнам, многочисленные слуги носили за нею корзины с хлебами; она раздавала их, встречая бледные, изнуренные лица — и народ еще благословлял ее великодушие. Чиновники день и ночь были в собрании. Уже некоторые из них молчанием изъявляли, что они не одобряют упорства посадницы и Делинского, некоторые даже

советовали войти в переговоры с Иоанном, но Делинский грозно подымал руку, столетний Феодосий седыми власами отирал слезы свои, Марфа вступала в храмину совета, и все снова казались твердыми. — Граждане, гонимые тоскою из домов своих, нередко видали по ночам, при свете луны, старца Феодосия, стоящего на коленях пред храмом Софийским; юная Ксения вместе с ним молилась, но мать ее, во время тишины и мрака, любила уединяться на кладбище Борецких, окруженном древними соснами: там, облокотясь на могилу супруга, она сидела в глубокой задумчивости, беседовала с его тению и давала ему отчет в делах своих. Наконец ужасы глада сильно обнаружились, и страшный вопль, предвестник мятежа, раздался на стогнах. Несчастные матери взывали: «Грудь наша иссохла, она уже не питает младенцев!» Добрые сыны новгородские восклицали: «Мы готовы умереть, но не можем видеть лютой смерти отцов наших!» Борецкая спешила на Вадимово место, указывала на бледное лицо свое, говорила, что она разделяет нужду с братьями новогородскими и что великодушное терпение есть должность их... В первый раз народ не хотел уже внимать словам ее, не хотел умолкнуть; с изнурением телесных сил и самая душа его ослабела; казалось, что все погасло в ней и только одно чувство глада терзало несчастных. Враги посадницы дерзали называть ее жестокою, честолюбивою, бесчеловечною... Она содрогнулась... Тайные друзья Иоанновы кричали пред домом Ярославовым: «Лучше служить князю московскому, нежели Борецкой; он возвратит изобилие Новуграду: она хочет обратить его в могилу!..» Марфа, гордая, величавая, — вдруг упадает на колена, поднимает руки и смиренно молит народ выслушать ее. Граждане, пораженные сим великодушным унижением, безмолвствуют... «В последний раз, — вещает она, — в последний раз заклинаю вас быть твердыми еще несколько дней! Отчаяние да будет нашею силою! Оно есть последняя надежда героев. Мы еще сразимся с Иоанном, и Небо да решит судьбу нашу!..» Все воины в одно мгновение обнажили мечи свои, взывая: «Идем, идем сражаться!» Друзья Иоанновы и враги посадницы умолкли. Многие

из граждан прослезились, многие сами упали на колена пред Марфою, называли ее *материю новогородскою* и снова клялись умереть великодушно. Сия минута была еще минутою торжества сей гордой жены. Врата Московские отворились, воины спешили в поле: она вручила *хоругвь отечества* Делинскому, который обнял своего друга и, сказав: «Прости навеки!», удалился.

Войско Иоанново встретило новогородцев... Битва продолжалась три часа, она была чудесным усилием храбрости... Но Марфа увидела наконец *хоругвь отечества* в руках Иоаннова оруженосца, знамя *дружины великодушных* — в руках Холмского, увидела поражение своих, воскликнула: «Совершилось!», прижала любезную дочь к сердцу, взглянула на лобное место, на образ Вадимов — и тихими шагами пошла в дом свой, опираясь на плечо Ксении. Никогда не казалась она величавее и спокойнее.

Делинский погиб в сражении, остатки воинства едва спаслися. Граждане, чиновники хотели видеть Марфу, и широкий двор ее наполнился толпами людей: она растворила окно, сказала: «Делайте что хотите!» — и закрыла его. Феодосий, по требованию народа, отправил послов к Иоанну: Новгород отдавал ему все свои богатства, уступал наконец все области, желая единственно сохранить собственное внутреннее правление. Князь московский ответствовал: «Государь милует, но не приемлет условий». Феодосий в глубокую ночь, при свете факелов, объявил гражданам решительный ответ великого князя... Взор их невольно искал Марфы, невольно устремился на высокий терем ее: там угасла ночная лампада! Они вспомнили слова посадницы... Несколько времени царствовало горестное молчание. Никто не хотел первый изъявить согласия на требование Иоанна; наконец друзья его ободрились и сказали: «Бог покоряет нас князю московскому; он будет отцом Новаграда». Народ пристал к ним и молил старца быть его ходатаем. Граждане в сию последнюю ночь власти народной не смыкали глаз своих, сидели на Великой площади, ходили по стогнам, нарочно приближались к вратам, где стояла воинская стража, и на вопрос ее: «Кто они?» — еще с тайным

удовольствием ответствовали: «Вольные люди новогородские!» Везде было движение, огни не угасали в домах: только в жилище Борецких все казалось мертвым.

Солнце восходило — и лучи его озарили Иоанна, сидящего на троне, под *хоругвию новогородскою*, среди воинского стана, полководцев и бояр московских, взор его сиял величием и радостию. Феодосий медленно приближался к трону; за ним шли все чиновники великого града. Посадник стал на колена и вручил князю серебряные ключи от врат Московских — тысячские преломили жезлы свои, и старосты пяти концов новогородских положили секиры к ногам Иоанновым. Слезы лились из очей Феодосия. «Государь Новаграда!» — сказал он, и все бояре московские радостно воскликнули: «Да здравствует великий князь всея России и Новаграда!..» — «Государь! — продолжал старец. — Судьба наша в руках твоих. Отныне воля самовластителя будет для нас единственным законом. Если мы, рожденные под иными уставами, кажемся тебе виновными, да падут наши головы! Все чиновники, все граждане виновны, ибо все любили свободу! Если простишь нас, то будем верными подданными: ибо сердца русские не знают измены, и клятва их надежна. Твори, что угодно владыке самодержавному!..» Иоанн дал знак рукою, и Холмский поднял Феодосия. «Суд мой есть правосудие и милость! — вещал он. — Милость всем чиновникам и народу...» — «Милость! Милость!» — воскликнули бояре московские. «Милость! Милость!» — радостно повторяло все войско: казалось, что она *ему* была объявлена, — столь добродушны русские! Одни чиновники новогородские стояли в мрачном безмолвии, потупив глаза в землю. «Бог судил меня с новогородцами, — сказал Иоанн, — кого наказал Он, того милую! Идите; да узнает народ, что Иоанн желает быть отцом его!» Он дал тайное повеление Холмскому, который, взяв с собою отряд воинов, занял врата Московские и принял начальство над градом: окрестные селения спешили доставить изобилие его изнуренным жителям.

Друзья Борецких хотели видеть Марфу: она и дочь ее сидели в тереме за рукодельем... «Не бойся мести

Иоанновой, — сказали друзья, — он всех прощает». Марфа ответствовала им гордою улыбкою — в сие мгновение застучало оружие в доме ее. Холмский входит, ставит воинов у дверей и велит боярам новогородским удалиться. Марфа, не изменяясь в лице, дружелюбно подала им руку и сказала: «Видите, что князь московский уважает Борецкую: он считает ее врагом опасным! Простите!.. Вам еще можно жить...» Бояре удалились. Холмский с угрозами начал ее допрашивать о мнимых тайных связях с Литвою; посадница молчала и спокойно шила золотом. Видя непреклонную твердость ее, он смягчил голос и сказал: «Марфа! Государь поверит одному слову твоему...» — «Вот оно, — ответствовала посадница, — пусть Иоанн велит умертвить меня и тогда может не страшиться ни Литвы, ни Казимира, ни самого Новаграда!..» Князь, благородный сердцем, вышел, удивляясь ее великодушию. Граждане толпились вокруг дома Борецких: напрасно воины хотели удалить их, но вдруг раздался звон колокольный во всех пяти концах, и народ, всегда любопытный, забыл на время судьбу Марфы: он спешил навстречу к Иоанну, который с величием и торжеством въезжал в Новгород, под сению *хоругви отечества*, среди легионов многочисленных, в венце Мономаха и с мечом в руке.

Марфа, заключенная в доме своем, услышала звон колокольный и громкие восклицания: «Да здравствует государь всея России и великого Новаграда!..» — «Давно ли, — сказала она милой дочери, которая, положив голову на грудь ее, с нежным умилением смотрела ей в глаза, — давно ли сей народ славил Марфу и вольность? Теперь он увидит кровь мою и не покажет слез своих, иногда с горестию будет воспоминать меня, но происшествия новые скоро займут всю душу его, и только слабые, хладные следы бытия моего останутся в преданиях суетного любопытства!.. И геройство пылает огнем дел великих, жертвует драгоценным спокойствием и всеми милыми радостями жизни... кому? Неблагодарным! Я могла бы наслаждаться счастием семейственным, удовольствиями доброй матери, богатством, благотворением, всеобщею любовию, почтением людей и — самою

нежною горестию о великом отце твоем, но я все принесла в жертву свободе моего народа: самую чувствительность женского сердца — и хотела ужасов войны; самую нежность матери — и не могла плакать о смерти сынов моих!.. (Тут в *первый раз* глаза Марфы наполнились слезами *раскаяния...*) Прости мне, тень великодушного супруга! Сие движение было последним гласом женской слабости. Я клялась заступить твое место в отечестве и, конечно, исполнила клятву свою: ибо князь московский считает меня достойною погибнуть вместе с вольностию новогородскою! Ты позавидовал бы моей доле, если бы еще дышал для отечества; самая неблагодарность народа возвысила бы в глазах твоих цену великодушной жертвы: награда признательности уменьшает ее. Теперь я спокойно ожидаю смерти!.. Знаю Иоанна, он знает Марфу и должен одним ударом сразить гордость новогородскую: кто дерзнет восстать против монарха, который наказал Борецкую?.. Герои древности, побеждаемые силою и счастием, лишали себя жизни; бесстрашные боялись казни; я не боюсь ее. Небо должно располагать жизнию и смертию людей; человек волен только в своих делах и чувствах». Ксения слушала мать свою и разумела слова ее.

Иоанн пред храмом Софийским сошел с коня: Феофил и духовенство встретили его со крестами. Сей великий государь принес жертву моления и благодарности Всевышнему. Все славные воеводы московские, преклонив колена, слезами изъявляли радость свою. Иоанн в доме Ярослава угостил роскошною трапезою бояр новогородских и державною рукою своею сыпал злато на беднейших граждан, которые искренне и добросердечно славили его благотворительность. Не грозный чужеземный завоеватель, но великий государь русский победил русских: любовь отца-монарха сияла в очах его.

Ввечеру многочисленные стражи явились на стогнах и повелели гражданам удалиться, но любопытные украдкою выходили из домов и видели, в глубокую полночь, Иоанна и Холмского, в тишине идущих к Софийскому храму: два воина освещали их путь факелом, остановились в ограде, и великий князь наклонился на

могилу юного Мирослава; казалось, что он изъявлял горесть и с жаром упрекал Холмского смертию сего храброго витязя... Новгородцы вспомнили тогда, что государь щитом своим отразил меч оруженосца, хотевшего умертвить Мирослава; удивлялись — и никогда не могли сведать тайны Иоаннова благоволения к юноше. — Сии любопытные приведены были в ужас другим зрелищем: они видели множество *пламенников* на Великой площади, слышали стук секир — и высокий эшафот явился пред домом Ярослава. Новогородцы думали, что Иоанн нарушит слово и что гнев его поразит всех именитых граждан.

На рассвете загремели воинские бубны. Все легионы московские были в движении, и Холмский с обнаженным мечом скакал по стогнам. Народ трепетал, но собирался на Великой площади узнать судьбу свою. Там, на эшафоте, лежала секира. От конца Славянского до моста Вадимова стояли воины с блестящим оружием и с грозным видом; воеводы сидели на конях пред своими дружинами. Наконец железные запоры упали, и врата Борецких растворились, выходит Марфа в златой одежде и в белом покрывале. Старец Феодосий несет образ пред нею. Бледная, но твердая Ксения ведет ее за руку. Копья и мечи окружают их. Не видно лица Марфы, но так величаво ходила она всегда по стогнам, когда чиновники ожидали ее в совете или граждане на *вече*. Народ и воины соблюдали мертвое безмолвие, ужасная тишина царствовала; посадница остановилась пред домом Ярослава. Феодосий благословил ее. Она хотела обнять дочь свою, но Ксения упала; Марфа положила руку на сердце ее — знаком изъявила удовольствие и спешила на высокий эшафот — сорвала покрывало с головы своей: казалась томною, но спокойною — с любопытством посмотрела на лобное место (где разбитый образ Вадимов лежал во прахе) — взглянула на мрачное, облаками покрытое небо — с величественным унынием опустила взор свой на граждан... приблизилась к орудию смерти и громко сказала народу: «Подданные Иоанна! Умираю гражданкою новогородскою!..» Не стало Марфы... Многие невольно воскликнули от ужаса, другие закрыли глаза

рукою. Тело посадницы одели черным покровом... Ударили в бубны — и Холмский, держа в руке хартию, стал на бывшем Вадимовом месте. Бубны умолкли... Он снял пернатый шлем с головы своей и читал громогласно следующее:

«Слава правосудию государя! Так гибнут виновники мятежа и кровопролития! Народ и бояре! не ужасайтесь: Иоанн не нарушит слова: на вас милующая десница его. Кровь Борецкой примиряет вражду единоплеменных; одна жертва, необходимая для вашего спокойствия, навеки утверждает сей союз неразрывный. Отныне предадим забвению все минувшие бедствия; отныне вся земля русская будет вашим любезным отечеством, а государь великий — отцом и главою. Народ! Не вольность, часто гибельная, но *благоустройство, правосудие и безопасность* суть три столпа гражданского счастия: Иоанн обещает их вам пред лицом Бога всемогущего...»

Тут князь московский явился на высоком крыльце Ярославова дому, безоружен и с главою открытою: он взирал на граждан с любовию и положил руку на сердце. Холмский читал далее:

«Обещает России славу и благоденствие, клянется своим и всех его преемников именем, что польза народная во веки веков будет любезна и священна самодержцам российским — или да накажет Бог клятвопреступника! Да исчезнет род его и новое, небом благословенное поколение да властвует на троне ко счастию людей!»[1]

Холмский надел шлем. Легионы княжеские взывали: «Слава и долголетие Иоанну!» Народ еще безмолвствовал. Заиграли на трубах — и в единое мгновение высокий эшафот разрушился. На месте его возвеялось белое знамя Иоанново, и граждане наконец воскликнули: «Слава государю российскому!»

Старец Феодосий снова удалился в пустыню и там, на берегу великого озера Ильменя, погреб тела Марфы и Ксении. Гости чужеземные вырыли для них могилу и на гробе изобразили буквы, которых смысл доныне ос-

---

[1] Род Иоаннов пресексся, и благословенная фамилия Романовых царствует.

тается тайною. Из семи сот немецких граждан только пятьдесят человек пережили осаду новогородскую: они немедленно удалились во свои земли. *Вечевой колокол* был снят с древней башни и отвезен в Москву: народ и некоторые знаменитые граждане далеко провожали его. Они шли за ним с безмолвною горестию и слезами, как нежные дети за гробом отца своего.

1802

МЕЛОДОР К ФИЛАЛЕТУ

Где ты, любезный Филалет? В каком уединении скрываешься? Какие предметы занимают душу твою? Чем питается твое сердце? Что делает тебе жизнь приятною? — И думаешь ли ныне о своем Мелодоре?

Ах! Где ты? Сердце мое тебя просит, требует. Оно помнит любезные твои взоры, сладкий голос и нежные, чувством согреваемые объятия, в которых жизнь бывала ему вдвое милее, — помнит и велит глазам моим искать тебя — велит рукам моим к тебе простираться!

Океан шумел между нами; теперь мы в одной земле — и не вместе! — Скажи слово, и Мелодор летит к тебе! — В ожидании сей минуты буду хотя писать к любезнейшему из друзей моих.

Пять лет мы не видались; сколько времени? Сколько перемен в свете — и в сердцах наших?.. Тысячи мыслей волнуются в душе моей. Я хотел бы вдруг перелить их в *твою* душу, без помощи слов, которых искать надобно; хотел бы открыть тебе грудь мою, чтобы ты собственными глазами мог читать в ней сокровенную историю друга твоего и видеть — прости мне смелое выражение — видеть все *развалины надежд и замыслов*, над которыми в тихие часы ночи сетует ныне дух мой, подобно страннику, воздыхающему на развалинах Илиона, стовратных Фив или великолепного греческого храма, когда бледный свет луны освещает их!

Помнишь, друг мой, как мы некогда рассуждали о нравственном мире, ловили в истории все благородные черты души человеческой, питали в груди своей эфирное

пламя любви, которого веяние возносило нас к небесам и, проливая сладкие слезы, восклицали: «Человек велик духом своим! Божество обитает в его сердце!» Помнишь, как мы, сличая разные времена, древние с новыми, искали и находили доказательство любезной нам мысли, что род человеческий возвышается и хотя медленно, хотя неровными шагами, но всегда приближается к духовному совершенству. Ах! С какою нежностию обнимали мы в душе своей всех земнородных, как милых детей Небесного Отца! — Радость сияла на лицах наших — и светлый ручеек, и зеленая травка, и алый цветочек, и поющая птичка — все, все нас веселило! Природа казалась нам обширным садом, в котором зреет божественность человечества.

Кто более нашего славил преимущества осьмого-надесять века: свет философии, смягчение нравов, тонкость разума и чувства, размножение жизненных удовольствий, всеместное распространение духа общественности, теснейшую и дружелюбнейшую связь народов, кротость правлений, и проч. и проч.? — Хотя и являлись еще некоторые черные облака на горизонте человечества, но светлый луч надежды златил уже края оных пред нашим взором — надежды: «Все исчезнет, и царство общей мудрости настанет, рано или поздно настанет, — и блажен тот из смертных, кто в краткое время жизни своей успел рассеять хотя одно мрачное заблуждение ума человеческого, успел хотя одним шагом приблизить людей к источнику всех истин, успел хотя единое плодоносное зерно добродетели вложить рукою любви в сердце чувствительных и таким образом ускорил ход всемирного совершения!»

Конец нашего века почитали мы концом главнейших бедствий человечества и думали, что в нем последует важное, общее соединение теории с практикою, умозрения с деятельностию, что люди, уверясь нравственным образом в изящности законов чистого разума, начнут исполнять их во всей точности и под сению мира, в крове тишины и спокойствия, насладятся истинными благами жизни.

О Филалет! Где теперь сия утешительная система?.. Она разрушилась в своем основании!

Осьмой-надесять век кончается; что же видишь ты на сцене мира? — Осьмой-надесять век кончается, и несчастный филантроп[1] меряет двумя шагами могилу свою, чтобы лечь в нее с обманутым, растерзанным сердцем своим и закрыть глаза навеки!

Кто мог думать, ожидать, предчувствовать?.. Мы надеялись скоро видеть человечество на горней степени величия, в венце славы, в лучезарном сиянии, подобно ангелу Божию, когда он, по священным сказаниям, является очам добрых, — с небесною улыбкою, с мирным благовестием! — Но вместо сего восхитительного явления видим... фурий с грозными пламенниками!

Где люди, которых мы любили? Где плод наук и мудрости? Где возвышение кротких, нравственных существ, сотворенных для счастия? — Век просвещения! Я не узнаю тебя — в крови и пламени не узнаю тебя — среди убийств и разрушения не узнаю тебя!.. Небесная красота прельщала взор мой, воспаляла мое сердце нежнейшею любовию, в сладком упоении стремился к ней дух мой, но — небесная красота исчезла — змеи шипят на ее месте! — Какое превращение!

Свирепая война опустошает Европу, столицу искусств и наук, хранилище всех драгоценностей ума человеческого, драгоценностей, собранных веками, драгоценностей, на которых основывались все планы мудрых и добрых! — И не только миллионы погибают; не только города и села исчезают в пламени; не только благословенные цветущие страны (где щедрая натура от начала мира изливала из полной чаши лучшие дары свои) в горестные пустыни превращаются — сего не довольно: я вижу еще другое, ужаснейшее зло для бедного человечества.

Мизософы[2] торжествуют. «Вот плоды вашего просвещения! — говорят они, — вот плоды ваших наук, вашей мудрости! Где воспылал огонь раздора, мятежа и злобы?

---

[1] То есть друг людей.

[2] Ненавистники наук.

Где первая кровь обагрила землю? И за что?.. И откуда взялись сии пагубные идеи?.. Да погибнет же ваша философия!» — И бедный, лишенный отечества, и бедный, лишенный крова, и бедный, лишенный отца, или сына, или друга, повторяет: «Да погибнет!» И доброе сердце, раздираемое зрелищем лютых бедствий, в горести своей повторяет: «Да погибнет!» — А сии восклицания могут составить наконец *общее мнение*: вообрази же следствия!

Кровопролитие не может быть вечно: я уверен. Рука, секущая мечом, утомится, сера и селитра истощатся в недрах земли, и громы умолкнут, тишина рано или поздно настанет, — но какова будет тишина сия? Если мертвая, хладная, мрачная?

Так, мой друг, падение наук кажется мне не только возможным, но и вероятным, не только вероятным, но даже неминуемым, даже близким. Когда же падут они... когда их великолепное здание разрушится, благодетельные лампады угаснут — что будет? Я ужасаюсь и чувствую трепет в сердце! — Положим, что некоторые искры и спасутся под пеплом, положим, что некоторые люди и найдут их и осветят ими тихие, уединенные свои хижины, но что же будет с миром, с *целым* человеческим родом? Ах, мой друг! Для добрых сердец нет счастия, когда они не могут делить его с другими. Истинный мудрец благословляет мудрость свою для того, что может сообщать оную ближним; иначе — смею сказать — будет оно бременем для его человеколюбивой души. Александр не принял сосуда с водою и не хотел утолять жажды своей тогда, когда все воинство его томилось; в свою минуту был он подлинно Великим Александром! Такие движения неизвестны эгоистам; зато первый враг истинной философии есть эгоизм.

Сверх того, внимательный наблюдатель видит теперь повсюду отверстые гробы для *нежной нравственности*. Сердца ожесточаются ужасными происшествиями и, привыкая к феноменам злодеяний, теряют чувствительность. Я закрываю лицо свое!

Ах, друг мой! Ужели род человеческий доходил в наше время до крайней степени возможного просвещения и должен, действием какого-нибудь чудного и тай-

ного закона, ниспадать с сей высоты, чтобы снова погрузиться в варварство и снова мало-помалу выходить из оного, подобно Сизифову камню, который, будучи вознесен на верх горы, собственною своею тяжестию скатывается вниз и опять рукою вечного труженика на гору возносится? — Горестная мысль! Печальный образ!

Теперь мне кажется, будто самые летописи доказывают *вероятность* сего мнения. Нам едва известны имена древних азиатских народов и царств, но по некоторым историческим отрывкам, до нас дошедшим, можно думать, что сии народы были не варвары, что они имели свои искусства, свои науки; кто знает тогдашние успехи разума человеческого? Царства разрушались, народы исчезали, из праха их, подобно как из праха фениксова, рождались новые племена, рождались в сумраке, в мерцании, младенчествовали, учились и — славились. Может быть, эоны погрузились в вечность, и несколько раз сиял день в умах людей, и несколько раз ночь темнила души, прежде нежели воссиял Египет, с которого начинается полная история. Библиотека Озимандиасова была, конечно, не первая в мире, была, верно, не что иное, как спасенный остаток древнейших библиотек.

Египетское просвещение соединяется с греческим: первое оставило нам одни развалины, но великолепные, красноречивые развалины; картина Греции жива перед нами. Там все прельщает зрение, душу, сердце, там красуются Ликурги и Солоны, Кодры и Леониды, Сократы и Платоны, Гомеры и Софоклы, Фидии и Зевксисы — одним словом, там должно дивиться утонченным действиям разума и нравственности. Римляне учились в сей великой школе и были достойны своих учителей.

Что ж последовало за сею блестящею эпохою человечества? Варварство многих веков, варварство ума и нравов — эпоха, мрачная — сцена, покрытая черным флером для глаз чувствительного философа!

Медленно редела, медленно прояснялась сия густая тьма. Наконец солнце наук воссияло, и философия изумила нас быстрыми своими успехами. Добрые, легковерные человеколюбцы заключали от успехов к успехам,

исчисляли, измеряли путь ума, напрягали взор свой — видели близкую цель совершенства и в радостном упоении восклицали: «Берег!..» Но вдруг небо дымится, и судьба человечества скрывается в грозных туманах! — О потомство! Какая участь ожидает тебя?

Если опять возвратится на землю третий и четвертый-надесять век?.. Мы, конечно, не доживем до сего, но можем ли умирать покойно? И что надпишем над гробами своими? Разве скажем с Сарданапалом: «Прохожий! Услаждай свои чувства; все прочее ничто!»[1] — О, мой друг!

Печальные сомнения волнуют мою душу, и шумный город, в котором живу, кажется мне пустынею. Вижу людей, но взор мой не находит сердца в их взорах. Слышу рассуждения и опускаю глаза в землю. — Говорю, но ветер разносит слова мои... Мертвое эхо повторяет их!

Иногда несносная грусть теснит мое сердце, иногда упадаю на колени и простираю руки свои — к невидимому... Нет ответа! — Голова моя клонится к сердцу.

Самая природа не веселит меня. Она лишилась венца своего в глазах моих с того времени, как не могу уже в ее объятиях мечтать о близком счастии людей, с того времени, как удалилась от меня радостная мысль о их совершенстве, о царстве истины и добродетели, с того времени, как я не знаю, что мне думать о феноменах нравственного мира, чего ожидать и надеяться!

Вечное движение в одном кругу, вечное повторение, вечная смена дня с ночью и ночи со днем, вечное смешение истин с заблуждениями и добродетелей с пороками, капля радостных и море горестных слез... Мой друг! Начто жить мне, тебе и всем? Начто жили предки наши? Начто будет жить потомство?

Суди о хаосе души моей, который представляет мне все творение в беспорядке! Смотрю на восходящее солнце и спрашиваю: почто восходишь? Стою под сению шумящего дуба и спрашиваю: почто шумишь? — Теперь все существует для меня без цели.

---

[1] Квинт Курций пишет, что Александр Великий нашел гроб Сарданапалов с сею надписью.

Вообрази себе человека, заснувшего сладким сном в тихом своем кабинете, подле нежной супруги, среди милых детей и вдруг, очарованием каких-нибудь злых волшебников, пренесенного на степь Африканскую, — удары грома пробуждают его — несчастный открывает глаза, видит ночь и пустыню вокруг себя — изумляется — думает и не понимает, где он и что с ним случилось — слышит везде рев зверей и не знает, куда идти... Где мирное жилище его? Где нежная супруга? Где милые дети?.. Нет пути! Нет спасения!.. Он терзается, проливает слезы и устремляет взор на небо, но небо покрыто тьмою, небо грозно! — Состояние сего человека некоторым образом подобно моему.

Дружба, священная, любезная дружба! В твои объятия изливает сердце мое — сердце, жестоко уязвленное, — горестные свои чувства. Оживи его благотворным своим бальзамом, услади нежным состраданием!

Филалет! Ты вместе со мною веселился некогда жизнию, природою, человечеством; теперь скорби со мною или утешь меня!

Дух мой уныл, слаб и печален, но я достоин еще дружбы твоей, ибо я люблю еще добродетель! — Вот черта, по которой ты всегда узнаешь Мелодора, узнаешь и в бурю, и в грозу, и на краю могилы!

ФИЛАЛЕТ К МЕЛОДОРУ

Мелодор! Слезы катились из глаз моих, когда я читал любезное письмо твое. Давно уже такие сладкие чувства не посещали моего сердца. Благодарю тебя! Самая неразрывная дружба есть та, которая начинается в юности, — неразрывная и приятнейшая. Она сливается в чувствительной системе нашей со всеми пленительными воспоминаниями весенних лет, сего красного утра жизни, лучшей эпохи нравственного бытия. Два добрых сердца, привыкшие любить друг друга, находят в сей любви источник нежнейших удовольствий и добродетельнейших радостей. Ах, мой друг! Можешь ли сомневаться в по-

стоянстве своего Филалета? Везде, где ни был я, — и в жарких и в холодных зонах, — везде образ твой путешествовал со мною, освежал томного странника под огненным небом линии и согревал его в пределах льдистого полюса. Наконец я в отечестве, и не с тобою? Но мне сказали, что ты уехал в чужие земли. К счастию, сие известие, огорчившее меня, было несправедливо. Мелодор в одной стране с Филалетом!.. Спеши, спеши к своему другу! В сельских кущах ожидаю тебя — там, где некогда с улыбкою встречали мы весну, с грустию провожали лето, где заключился навеки союз душ наших.

Мой друг! письмо твое ознаменовано печатию меланхолии. Ты беспокоен, ты печален, сердце твое страдает, милые надежды твои исчезли, ты ищешь на театре мира — и не находишь тех благородных существ, тех людей, которых некогда любили мы с таким жаром. Одним словом, новые ужасные происшествия Европы разрушили всю прежнюю утешительную систему твою, разрушили и повергнули тебя в море неизвестности и недоумений: мучительное состояние для умов деятельных!

Мелодор! Я не надеюсь утешить тебя совершенно, не надеюсь сказать тебе ничего нового, но любовь имеет особливую силу, и всякий дар любви, и всякое слово любви производит благое действие. Часто самая простая мысль, согретая огнем дружбы, бывает ярким лучом света, рассевающим густую хладную тьму сердца нашего.

Подобно тебе, смотрю я внимательным оком на все явления в мире, вздыхаю, подобно тебе, о бедствиях человечества и признаюсь искренно, что грозные бури наших времен могут поколебать систему всякого добродушного философа.

Но неужели, друг мой, не найдем мы никакого успокоения во глубине сердец наших? Ужели, в отчаянии горести, будем проклинать мир, природу и человечество? Ужели откажемся навеки от своего разума и погрузимся во тьму уныния и душевного бездействия? — Нет, нет! Сии мысли ужасны. Сердце мое отвергает их и, сквозь густоту ночи, стремится к благотворному свету, подобно

мореплавателю, который в гибельный час кораблекрушения, — в час, когда все стихии угрожают ему смертию, — не теряет надежды, сражается с волнами и хватается рукою за плывущую доску.

Так, Мелодор! Я хочу спастись от кораблекрушения с моим добрым мнением о Провидении и человечестве, мнением, которое составляет драгоценность души моей. Пусть мир разрушится на своем основании: я с улыбкою паду под смертоносными громами, и улыбка моя, среди всеобщих ужасов, скажет Небу: «Ты благо и премудро, благо творение руки Твоей, благо сердце человеческое, изящнейшее произведение любви Божественной!»

Уничтожься навеки, мысленная и чувствительная сила моя, прежде нежели поверю, что сей мир есть пещера разбойников и злодеев, добродетель — чуждое растение на земном шаре, просвещение — острый кинжал в руках убийцы! Нет, мой друг! Пусть докажут мне наперед, что Бог не существует, что Провидение есть одно слово без значения, что мы дети случая, сцепление атомов и более ничего! Но где же тот безумный изверг, который захотел бы уверить меня в сих страшных нелепостях? Я взгляну на сафирное небо, взгляну на цветущую землю, положу руку на сердце и скажу атеисту: «Ты — безумец!»

Неужели, видя Бога в естественном мире, видя руку Его в течении планет, в порядках солнечных, в перемене годовых времен и во всех физических явлениях нашей земной обители, будем мы отрицать Его действие в одном нравственном мире, который по существу своему должен быть, если смею сказать, ближе первого к сердцу Великого Божества? Соглашаюсь, что порядок нравственный не столь ясен для нас, как порядок физический, но сие затруднение не происходит ли от слабости нашего разума? Может быть, единственно оттого мы и не постигаем нравственной гармонии, что она есть высочайшая, совершеннейшая. Дай несведущему творения Локковы: что он скажет об них? Дай ему сказку Кребильйонову: он восхитится ею. Последняя хороша в своем роде, но в ней ли наиболее удивляет нас ум человеческий? — Может быть, то, что кажется смертному великим неустройством, есть чудесное согласие для ангелов; может быть,

то, что кажется нам разрушением, есть для их небесных очей новое, совершеннейшее бытие. Сии мысли ведут меня ко святилищу Божественной премудрости, густым мраком окруженному; дух мой, бренною плотию одеянный, не может проникнуть в оное; упадаю во прах своего ничтожества и в младенческом сердце обожаю Всетворящего.

Скажи, мой друг, скажи, чего бы нельзя было ожидать от Всевышнего и тогда, когда б рука Его возжгла только единое солнце на голубом небесном своде? Но там горят их биллионы. Тот, кто великолепно прославил Себя в натуре, великолепно прославит Себя и в человечестве. — Не будем требовать от Вечной Премудрости отчета в темных путях Ее, не будем требовать того для собственного нашего спокойствия! — Знаешь ли, что всего более пленяет меня в дружбе? Доверенность, которую два сердца имеют одно к другому. Пусть гнусное злословие всеми стрелами своими язвит отдаленного Питиаса: Дамон внимает клевете и с презрением отвергает ее. «Нет! я знаю моего друга; где бы он ни был, добродетель везде с ним; что бы он ни сделал, дело его — не преступление». Мелодор! Для чего к Провидению не иметь нам той доверенности, которую два человека могут иметь один к другому? Бог вложил чувство в наше сердце, Бог вселил в мою и в твою душу ненависть ко злобе, любовь к добродетели: сей Бог, конечно, обратит все к цели общего блага.

Сия драгоценная вера может чудесным образом успокоить доброе сердце, возмущенное страшными феноменами на театре мира. Вкуси сладость ее, мой любезный друг, и луч утешения кротко озарит мрак души твоей! — Горе той философии, которая все решить хочет! Теряясь в лабиринте неизъяснимых затруднений, она может довести нас до отчаяния, и тем скорее, чем естественно добрее сердце наше. Иногда, признаюсь тебе, я сам бываю слаб и печален; отвращаюсь от света, от людей и говорю с Грессетом:

Je suis mal oú je suis, et je veux être bieh[1];

---

[1] Мне плохо там, где я нахожусь, а я хочу, чтобы мне было хорошо *(фр.)*.

5 Зак № 3756 Карамзин

душа моя стремится во мрак каких-нибудь неизвестных лесов, во мрак — самого ничтожества, но я стараюсь уменьшать число таких минут в жизни моей, оживляя в душе мысль о Всетворящем Божестве, которое не есть Божество Лукрециево, но есть Божество Эпикурово. «Разве Оно не любит человека! — думаю сам в себе. — Разве Оно не печется о судьбе людей? Разве мир наш не в Его руке вместе с миллионами других миров?» Думаю, взираю на свод лазоревый, возношусь духом выше, выше — и взор мой проясняется, отираю слезы — и мирюсь с судьбою, мирюсь с человеческим родом. Иду в тихий кабинет свой, читаю добрых философов, утешителей, размышляю — и сравниваю жестокие потрясения в нравственном мире с лиссабонским или мессинским землетрясением, которое свирепствовало, разрушало и наконец утихло; на берегах Тага снова возвышается великолепный город — и обитатели Мессины снова наслаждаются мирною жизнию.

Будем, мой друг, будем и ныне утешаться мыслию, что жребий рода человеческого не есть вечное заблуждение и что люди когда-нибудь перестанут мучить самих себя и друг друга. Семя добра есть в человеческом сердце и не исчезнет вовеки, рука Провидения хранит его от хлада и бурь. Теперь свирепствуют аквилоны, но рано или поздно настанет благодетельная весна, и семя распустится от животворного дыхания зефиров.

Верю и всегда буду верить, что добродетель свойственна человеку и что он сотворен для добродетели. Кто не пленяется описанием златого века, века невинности? Кто не проливает слез умиления, внимая повествованию о делах великодушия и геройства? Кто не любит воображать себя добрым, благодетельным существом? Мой друг! Я был среди так называемых просвещенных народов, был среди народов диких и видел, что везде, во всех странах человек делает зло с пасмурным лицом, а добро — с приятною улыбкою!.. Сия черта нравственности любезна философу.

Соглашаюсь с тобою, что мы некогда излишно величали осьмой-надесять век и с лишком много ожидали от него. Происшествия доказали, каким ужасным заблуж-

дениям подвержен еще разум наших современников! Но я надеюсь, что впереди ожидают нас лучшие времена, что природа человеческая более усовершенствуется, — например, в девятом-надесять веке — нравственность более исправится — разум, оставив все химерические предприятия, обратится на устроение мирного блага жизни, и зло настоящее послужит к добру будущему.

Что принадлежит до мизософов, мой друг, то они никогда, никогда торжествовать не будут. Знаю, что распространение некоторых ложных идей наделало много зла в наше время, но разве просвещение тому виною? Разве науки не служат, напротив того, средством к открытию истины и к рассеянию заблуждений, пагубных для нашего спокойствия? Разве не истина, разве ложь есть существо наук? — Разогнем книгу истории; за что не лилась кровь человеческая? Например, распри суеверия вооружали сына против отца, брата против брата; но какой безумец вздумает обвинять тем самым религию? Напротив того, не она ли обезоружила наконец сих фанатиков, озарив светом своим, светом любви и кротости, их пагубные заблуждения? Нет, мой друг, нет! Я имею доверенность к мудрости властителей и спокоен; имею доверенность ко благости Всевышнего и спокоен. Нет! Светильник наук не угаснет на земном шаре. Ах! Разве не они служат нам отрадою в горестях? Разве не в их мирном святилище укрываемся от всех бурь житейских? Нет, Всемогущий не лишит нас сего драгоценного утешения добрых, чувствительных, печальных. Просвещение всегда благотворно; просвещение ведет к добродетели, доказывая нам тесный союз частного блага с общим и открывая неиссякаемый источник блаженства в собственной груди нашей; просвещение есть лекарство для испорченного сердца и разума; одно просвещение живодетельною теплотою своею может иссушить сию тину нравственности, которая ядовитыми парами своими мертвит все изящное, все доброе в мире; в одном просвещении найдем мы спасительный антидот для всех бедствий человеческих! — Кто скажет мне: «Науки вредны, ибо осьмой-надесять век, ими гордившийся, ознаменуется в книге бытия кровию и слезами», тому скажу

я: «Осьмой-надесять век не мог именовать себя просвещенным, когда он в книге бытия ознаменуется кровию и слезами».

Мысли твои о вечном возвышении и падении разума человеческого кажутся мне — извини искренность дружбы — воздушным замком; я не вижу их основания. Положим, что в древней Азии были многочисленные народы, но где же следы их просвещения? История застала людей во младенчестве, в начальной простоте, которая не совместна с великими успехами наук. Даже и в Египте видим мы только первые действия ума, первые магазины знаний, в которых истины были перемешаны с бесчисленными заблуждениями. Самые греки — я люблю их, мой друг; но они были не что иное, как — милые дети! Мы удивляемся их разуму, их чувству, их талантам, но так, как взрослый человек удивляется иногда разуму, чувству и талантам юного отрока. Читай вместе Платона и Боннета, Аристотеля и Локка — я не говорю о Канте — и потом скажи мне, что была греческая философия в сравнении с нашею?

Для чего и теперь не думать нам, что веки служат разуму лествицею, по которой возвышается он к своему совершенству, иногда быстро, иногда медленно?

Ты указываешь мне на варварство средних веков, наступившее после греческого и римского просвещения; но самое сие так называемое варварство (в котором, однако ж, от времени до времени сверкали блестящие, зрелые идеи ума) не послужило ли *в целом* к дальнейшему распространению света наук? Солнце, рассеяв облака, сияет тем лучезарнее и тем благотворнее действует на землю. Дикие народы севера, которые в грозном своем нашествии гасили, подобно шумному дыханию борея, светильники разума в Европе, наконец сами просветились, и новый фимиам воскурился музам на земном шаре.

Нет, нет! Сизиф с камнем не может быть образом человечества, которое беспрестанно идет своим путем и беспрестанно изменяется. Прохладим, успокоим наше воображение, и мы не найдем в истории никаких повторений. Всякий век имеет свой особливый нравственный

характер, — погружается в недра вечности и никогда уже не является на земле в другой раз.

Мой друг! Мы должны смотреть на мир как на великое позорище, где добро со злом, где истина с заблуждением ведет кровавую брань. Терпение и надежды! Все неправедное, все ложное гибнет, рано или поздно гибнет; одна истина не страшится времени; одна истина пребывает вовеки!

Природа уже не веселит тебя?.. тебя, моего доброго, моего любезного Мелодора? Нет, пока чувствительное сердце бьется в груди твоей, люби природу, утешайся ею, ищи радости в ее объятиях! Люди, по несчастному заблуждению, могут быть злы, природа — никогда! Нет, Мелодор! Будем всегда нежными чадами нежной матери, будем наслаждаться ее благостию и бесчисленными красотами! Иногда жаркая слеза выкатится из глаз наших: кроткий зефир осушит ее.

В ответ на горестное заключение письма твоего скажу: «Если ужасное пробуждение описанного тобою несчастливца было не что иное, как новый сон, если он вторично откроет глаза, если все ужасы вокруг его исчезнут, если Морфей унесет их с собою в царство ничтожества и теней?..»

Мелодор! Нам не век жить в сем мире. Ударит час, и все переменится! С сею любовию к добродетели, которая была, есть и будет вечным характером души твоей, падем в могилу и закроемся тихою землею!..

Там, там, за синим океаном,
Вдали, в мерцании багряном,

там венец бессмертия и радости ожидает земных тружеников!

1794

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПОСЛАНИЕ К ДМИТРИЕВУ
в ответ на его стихи, в которых он жалуется на скоротечность счастливой молодости

Конечно так, — ты прав, мой друг!
Цвет счастья скоро увядает,
И юность наша есть тот луг,
Где сей красавец расцветает.
Тогда в эфире мы живем
И нектар сладостный пием
Из полной олимпийской чаши;
Но жизни алая весна
Есть миг — увы! пройдет она,
И с нею мысли, чувства наши
Лишатся свежести своей.
Что прежде душу веселило,
К себе с улыбкою манило,
Немило, скучно будет ей.
Надежды и мечты златые,
Как птички, быстро улетят,
И тени хладные, густые
Над нами солнце затемнят, —
Тогда, подобно Иксиону,
Не милую свою Юнону,
Но дым увидим пред собой![1]

И я, о друг мой, наслаждался
Своею красною весной;
И я мечтами обольщался —
Любил с горячностью людей,

---

[1] Известно из мифологии, что Иксион, желая обнять Юнону, обнял облако и дым.

Как нежных братий и друзей;
Желал добра им всей душею;
Готов был кровию моею
Пожертвовать для счастья их
И в самых горестях своих
Надеждой сладкой веселился
Небесполезно жить для них —
Мой дух сей мыслию гордился!
Источник радостей и благ
Открыть в чувствительных душах;
Пленить их истиной святою,
Ее нетленной красотою;
Орудием небесным быть
И в памяти потомства жить
Казалось мне всего славнее,
Всего прекраснее, милее!
Я жребий свой благословлял,
Любуясь прелестью награды, —
И тихий свет моей лампады
С звездою утра угасал.
Златое дневное светило
Примером, образцом мне было...
Почто, почто, мой друг, не век
Обманом счастлив человек?

Но время, опыт разрушают
Воздушный замок юных лет;
Красы волшебства исчезают...
Теперь иной я вижу свет, —
И вижу ясно, что с Платоном
Республик нам не учредить,
С Питтаком, Фалесом, Зеноном
Сердец жестоких не смягчить.
Ах! зло под солнцем бесконечно,
И люди будут — люди вечно.
Когда несчастных Данаид[1]
Сосуд наполнится водою,
Тогда, чудесною судьбою,
Наш шар приимет лучший вид:

---

[1] Они в подземном мире льют беспрестанно воду в худой сосуд.

Сатурн на землю возвратится
И тигра с агнцем помирит;
Богатый с бедным подружится
И слабый сильного простит.
Дотоле истина опасна,
Одним скучна, другим ужасна;
Никто не хочет ей внимать,
И часто яд тому есть плата,
Кто гласом мудрого Сократа
Дерзает буйству угрожать.
Гордец не любит наставленья,
Глупец не терпит просвещенья —
Итак, лампаду угасим,
Желая доброй ночи им.
Но что же нам, о друг любезный,
Осталось делать в жизни сей,
Когда не можем быть полезны,
Не можем пременить людей?
Оплакать бедных смертных долю
И мрачный свет предать на волю
Судьбы и рока: пусть они,
Сим миром правя искони,
И впредь творят что им угодно!
А мы, любя дышать свободно,
Себе построим тихий кров
За мрачной сению лесов,
Куда бы злые и невежды
Вовек дороги не нашли
И где б, без страха и надежды,
Мы в мире жить с собой могли,
Гнушаться издали пороком
И ясным, терпеливым оком
Взирать на тучи, вихрь сует,
От грома, бури укрываясь
И в чистом сердце наслаждаясь
Мерцанием вечерних лет,
Остатком теплых дней осенних.
Хотя уж нет цветов весенних
У нас на лицах, на устах
И юный огнь погас в глазах;
Хотя красавицы престали
Меня любезным называть

(Зефиры с нами отыграли!),
Но мы не до́лжны унывать:
Живем по общему закону!..
Отелло в старости своей
Пленил младую Дездемону[1]
И вкрался тихо в сердце к ней
Любезных муз прелестным даром.
Он с нежным, трогательным жаром
В картинах ей изображал,
Как случай в жизни им играл;
Как он за дальними морями,
Необозримыми степями,
Между ревущих, пенных рек,
Среди лесов густых, дремучих,
Песков горящих и сыпучих,
Где люди не бывали ввек,
Бесстрашно в юности скитался,
Со львами, тиграми сражался,
Терпел жестокий зной и хлад,
Терпел усталость, жажду, глад.
Она внимала, удивлялась;
Брала участие во всем;
В опасность вместе с ним вдавалась
И в нежном пламени своем,
С блестящею в очах слезою,
Сказала: я люблю тебя!
И мы, любезный друг, с тобою
Найдем подругу для себя,
Подругу с милою душею,
Она приятностью своею
Украсит запад наших дней.
Беседа опытных людей,
Их басни, повести и были
(Нас лета сказкам научили!)
Ее внимание займут,
Ее любовь приобретут.
Любовь и дружба — вот чем можно
Себя под солнцем утешать!
Искать блаженства нам не должно,
Но должно — менее страдать;

---

[1] Смотри Шекспирову трагедию «Отелло».

И кто любил, кто был любимым,
Был другом нежным, другом чтимым,
Тот в мире сем недаром жил,
Недаром землю бременил.

Пусть громы небо потрясают,
Злодеи слабых угнетают,
Безумцы хвалят разум свой!
Мой друг! не мы тому виной.
Мы слабых здесь не угнетали
И всем ума, добра желали:
У нас не черные сердца!
И так без трепета и страха
Нам можно ожидать конца
И лечь во гроб, жилище праха.
Завеса вечности страшна
Убийцам, кровью обагренным,
Слезами бедных орошенным.
В ком дух и совесть без пятна,
Тот с тихим чувствием встречает
Златую Фебову стрелу[1],
И ангел мира освещает
Пред ним густую смерти мглу.
Там, там, за синим океаном,
Вдали, в мерцании багряном,
Он зрит... но мы еще не зрим.

1794

ПОСЛАНИЕ К АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ ПЛЕЩЕЕВУ

Мой друг! вступая в шумный свет
С любезной, искренней душею,
В весеннем цвете юных лет,
Ты хочешь с музою моею
В свободный час поговорить
О том, чего все ищут в свете;

[1] Древние поэты говорили, что златая Фебова стрела приносит смерть человеку.

Что вечно у людей в предмете;
О чем позволено судить
Ученым, мудрым и невежде,
Богатым в золотой одежде
И бедным в рубище худом,
На тронах, славой окруженных,
И в сельских хижинах смиренных;
Что в каждом климате земном
Надежду смертных составляет,
Сердца всечасно обольщает,
Но, ах!.. не зримо ни в одном!

О счастьи слово. Удалимся
Под ветки сих зеленых ив;
Прохладой чувства освежив,
Мы там беседой насладимся
В любезной музам тишине[1].
Мой друг! поверишь ли ты мне,
Чтоб десять тысяч было мнений,
Ученых философских прений
В архивах древности седой[2]
О средствах жить счастливо в свете,
О средствах обрести покой?
Но точно так, мой друг; в сем счете
Ошибки нет. Фалес, Хилон,
Питтак, Эпименид, Критон,
Бионы, Симмии, Стильпоны,
Эсхины, Эрмии, Зеноны,
В лицее, в храмах и садах,
На бочках, темных чердаках
О благе вышнем говорили
И смертных к счастию манили
Своею... нищенской клюкой,
Клянясь священной бородой,
Что плод земного совершенства
В саду их мудрости растет;
Что в нем нетленный цвет блаженства,

---

[1] Сии стихи писаны в самом деле под тению ив.

[2] Десять тысяч!! Читатель может сомневаться в верности счета; но один из древних же авторов пишет, что их было точно десять тысяч.

Как роза пышная, цветет.
Слова казалися прекрасны,
Но только были несогласны.
Один кричал: ступай туда!
Другой: нет, нет, поди сюда!
Что ж греки делали? Смеялись,
Ученой распрей забавлялись,
А счастье... называли сном!

И в наши времена о том
Бывает много шуму, спору.
Немало новых гордецов,
Которым часто без разбору
Дают названье мудрецов;
Они нам также обещают
Открыть прямой ко счастью след;
В глаза же счастия не знают;
Живут, как все, под игом бед;
Живут, и горькими слезами
Судьбе тихонько платят сами
За право умниками слыть,
О счастьи в книгах говорить!

Престанем льстить себя мечтою,
Искать блаженства под луною!
Скорее, друг мой, ты найдешь
Чудесный философский камень,
Чем век без горя проживешь.
Япетов сын эфирный пламень
Похитил для людей с небес,
Но счастья к ним он не принес;
Оно в удел нам не досталось
И там, с Юпитером, осталось.
Вздыхай, тужи; но пользы нет!
Судьбы рекли: «Да будет свет
Жилищем призраков, сует,
Немногих благ и многих бед!»
Рекли — и Суеты спустились
На землю шумною толпой:
Герои в латы нарядились,
Пленяся Славы красотой;
Мечом махнули, полетели

В забаву умерщвлять людей;
Одни престолов захотели,
Другие самых алтарей;
Одни шумящими рулями
Рассекли пену дальних вод;
Другие мощными руками
Отверзли в землю темный ход,
Чтоб взять пригоршни светлой пыли!
Мечты всем головы вскружили,
А горесть врезалась в сердца.
Народов сильных победитель
И стран бесчисленных властитель
Под блеском светлого венца
В душевном мраке унывает
И часто сам того не знает,
Начто величия желал
И кровью лавры омочал!
Смельчак, Америку открывший,
Пути ко счастью не открыл;
Индейцев в цепи заключивший
Цепями сам окован был,
Провел и кончил жизнь в страданье.
А сей вздыхающий скелет,
Который богом чтит стяжанье,
Среди богатств в тоске живет!..
Но кто, мой друг, в морской пучине
Глазами волны перечтет?
И кто представит нам в картине
Ничтожность всех земных сует?

Что ж делать нам? Ужель сокрыться
В пустыню Муромских лесов,
В какой-нибудь безвестный кров,
И с миром навсегда проститься,
Когда, к несчастью, мир таков?
Увы! Анахорет не будет
В пустыне счастливее нас!
Хотя земное и забудет,
Хотя умолкнет страсти глас
В его душе уединенной,
Безмолвным мраком огражденной,
Но сердце станет унывать,

В груди холодной тосковать,
Не зная, чем ему заняться.
Тогда пустыннику явятся
Химеры, адские мечты,
Плоды душевной пустоты!
Чудовищ грозных миллионы,
Змеи летучие, драконы,
Над ним крылами зашумят
И страхом ум его затмят...[1]
В тоске он жизнь свою скончает!

Каков ни есть подлунный свет,
Хотя блаженства в оном нет,
Хотя в нем горесть обитает, —
Но мы для света рождены,
Душой, умом одарены
И должны в нем, мой друг остаться.
Чем можно, будем наслаждаться,
Как можно менее тужить,
Как можно лучше, тише жить,
Без всяких суетных желаний,
Пустых, блестящих ожиданий;
Но что приятное найдем,
То с радостью себе возьмем.
В лесах унылых и дремучих
Бывает краше анемон,
Когда украдкой выдет он
Один среди песков сыпучих;
Во тьме густой, в печальной мгле
Сверкнет луч солнца веселее:
Добра не много на земле,
Но есть оно — и тем милее
Ему быть должно для сердец.
Кто малым может быть доволен,
Не скован в чувствах, духом волен,
Не есть чинов, богатства льстец;
Душою так же прям, как станом;
Не ищет благ за океаном
И с моря кораблей не ждет,

[1] Многие пустынники, как известно, сходили с ума в уединении.

Шумящих ветров не робеет,
Под солнцем домик свой имеет,
В сей день для дня сего живет
И мысли в даль не простирает;
Кто смотрит прямо всем в глаза;
Кому несчастного слеза
Отравы в пищу не вливает;
Кому работа не трудна,
Прогулка в поле не скучна
И отдых в знойный час любезен;
Кто ближним иногда полезен
Рукой своей или умом;
Кто может быть приятным другом,
Любимым, счастливым супругом
И добрым милых чад отцом;
Кто муз от скуки призывает
И нежных граций, спутниц их;
Стихами, прозой забавляет
Себя, домашних и чужих;
От сердца чистого смеется
(Смеяться, право, не грешно!)
Над всем, что кажется смешно, —
Тот в мире с миром уживется
И дней своих не прекратит
Железом острым или ядом;
Тому сей мир не будет адом;
Тот путь свой розой оцветит
Среди колючих жизни терний,
Отраду в горестях найдет,
С улыбкой встретит час вечерний
И в полночь тихим сном заснет.

1794

ПУБЛИЦИСТИКА

МОЯ ИСПОВЕДЬ

Письмо к издателю журнала

Признаюсь вам, государь мой, что я не читаю вашего журнала, а желаю, чтобы вы поместили в нем мое письмо. Для чего? Сам не знаю. Более сорока лет живу на свете и никогда еще не давал себе отчета ни в желаниях, ни в делах своих. Великое слово «так» было всегда моим девизом.

Я намерен говорить о себе: вздумал и пишу — свою исповедь, не думая, приятна ли будет она для читателей. Нынешний век можно назвать веком *откровенности* в физическом и нравственном смысле: взгляните на милых наших красавиц!.. Некогда люди прятались в темных домах и под щитом высоких заборов. Теперь везде светлые домы и большие окна на улицу: просим смотреть! Мы хотим жить, действовать и мыслить в прозрачном стекле. Ныне люди путешествуют не для того, чтобы узнать и верно описать другие земли, но чтобы иметь случай поговорить о себе; ныне всякий сочинитель романа спешит как можно скорее сообщить свой образ мыслей о важных и неважных предметах. Сверх того, сколько выходит книг под титулом: «Мои опыты», «Тайный журнал моего сердца»! Что за перо, то и за искреннее признание. Как скоро нет в человеке старомодного варварского стыда, то всего легче быть автором исповеди. Тут не надобно ломать головы; надобно только вспомнить проказы свои, и книга готова.

Однако ж не думайте, чтобы я хотел оправдываться примерами; нет, такая мысль оскорбительна для моего самолюбия. Следую только собственному движению и

замечаю мимоходом, что оно некоторым образом согласно с общим; но сохрани меня Бог казаться рабским подражателем! Для того, в противность всем исповедникам, наперед сказываю, что признания мои не имеют никакой нравственной цели. Пишу — так! Еще и другим отличусь от моих собратий — авторов, а именно краткостию. Они умеют расплодить самое ничто; я самые важные случаи жизни своей опишу на листочке.

Начну уверением, что натура произвела меня совершенно особенным человеком и что судьба все случаи жизни моей запечатлела какою-то отменною печатию. Например, я родился сыном богатого, знатного господина — и вырос шалуном! Делал всякие проказы — и не был сечен! Выучился по-французски — и не знал народного языка своего! Играл десяти лет на театре — и в пятнадцать лет не имел идеи о должностях человека и гражданина.

На шестнадцатом году дали мне изрядный чин и отправили меня в чужие краи, не сказав для чего. Правда, что со мною поехал гофмейстер, женевец (прошу заметить, а не француз, потому что в это время французские гувернеры в знатных домах наших выходили уже из моды), которому даны были все нужные наставления. Господин Мендель знал, к чему по большей части готовится знатный молодой человек, а всего более знал свои выгоды — и поступал со мною вследствие своего благоразумного плана. Надобно отдать ему справедливость: он любил искренность и немедленно со мною объяснился. «Любезный граф! — сказал мне гофмейстер. — Природа и судьба уговорились сделать тебя образцом любезности и счастия; ты прекрасен, умен, богат и знатен; довольно для блестящей роли в свете! Все прочее не стоит труда. Мы едем в Лейпцигский университет; родители твои, следуя обыкновению, желают, чтобы ты украсил разум свой знаниями, и поручили тебя моему смотрению; будь спокоен! Я родился в республике и ненавижу тиранство! Надеюсь только, что моя снисходительность заслужит со временем твою признательность». Я обнял его и обещал ему такую пенсию, какая не всегда дается и министру за долголетнюю службу.

Приехав в Лейпциг, мы спешили познакомиться со всеми славными профессорами — и нимфами. Гофмейстер мой имел великое уважение к первым и маленькую слабость к последним. Я взял его себе за образец — и мы одним давали обеды, другим — ужины. Часы лекций казались мне минутою, оттого что я любил дремать под кафедрою докторов, и не мог их наслушаться, оттого что никогда не слушал. Между тем господин Мендель всякую неделю уведомлял моих родителей о великих успехах дражайшего сына их и целые страницы наполнял именами наук, которым меня учили.

Наконец, прожив три года в Лейпциге, мы отправились путешествовать, наняв секретаря для описания любопытных предметов, ибо господин Мендель был ленив. Родители мои из каждого города получали от нас толстые пакеты, не могли нарадоваться умными замечаниями своего сына и с гордостью читали их нашим родственникам. Я не виноват был ни в одной строке, уполномочив секретаря своего философствовать вместо меня (к счастию, рука его совершенно на мою походила), но к некоторым его описаниям прибавлял от себя выразительные карикатуры — произведение единственного таланта, данного мне натурою!

Однако ж я наделал много шуму в своем путешествии — тем, что, прыгая в контрдансах с важными дамами немецких княжеских дворов, нарочно ронял их на землю самым неблагопристойным образом, а всего более тем, что, с добрыми католиками целуя туфель папы, укусил ему ногу и заставил бедного старика закричать изо всей силы. Эта шутка не прошла мне даром, и я высидел несколько дней в крепости св. Ангела. Обыкновенная же забава моя дорогою была — стрелять бумажными шариками из духового пистолета в спину постиллионам!

В Париже я вошел в связь со многими из славных ветреников и нашел способ удивить их как смелою своею философиею, так и всеми тонкостями языка повес, всеми его техническими выражениями, заимствованными мною по большой части от господина Менделя, который служил некогда домашним секретарем герцога Ришельё.

Будучи введен в некоторые хорошие домы, я имел случай узнать и славнейших французских остроумцев; слышал однажды чтение Лагарповой «Мелании», хвалил без памяти талант автора и после сведал, что он в письме своем к одному знатному человеку в П* (без сомнения, из благодарности) описывал меня редким молодым человеком, рожденным для чести и славы отечества. Я имел счастие быть представлен герцогу Орлеанскому, ужинать с его избранными друзьями и разделять забавы их, достойные кисти нового Петрония.

Надобно было видеть Англию; подобно Альцибиаду, я стал другим человеком в другой земле и пил так усердно с британцами, что через месяц слег в постелю. Пользуясь временем моего выздоровления, я сделал карикатуры на всю королевскую фамилию — и лондонские журналы говорили об них с великою похвалою.

Возвращение сил моих было горестно для господина Менделя: мне вздумалось столкнуть его с лестницы за то, что ему вздумалось приласкаться к моей Дженни. Нежная англичанка упала в обморок, между тем как мой гофмейстер считал головою ступени. Однако ж уверяю читателя, что сердце мое совсем неспособно к ревности: это минутное движение было, конечно, следствием моей болезни. Господин Мендель расстался со мною. Мы оба уведомили моих родителей о нашем разрыве; он называл меня шалуном, а я описывал его недостойным имени гофмейстера. И то и другое могло быть справедливо, но матушка одному мне поверила, а батюшка согласился с нею.

Наконец я возвратился в отечество, где лавры и мирты ожидали меня. В голове моей не было никакой ясной идеи, а в сердце — никакого сильного чувства, кроме скуки. Весь свет казался мне беспорядочною игрою китайских теней, все правила — уздою слабых умов, все должности — несносным принуждением. Ласки родителей не сделали в холодной душе моей никакого впечатления; но, зная выгоды человека, образованного в чужих землях, я спешил поразить умы соотечественников разными странностями и с удовольствием видел себя истинным законодателем столицы. Морепла-

ватель во время бури не смотрит с таким вниманием на магнитную стрелку, с каким молодые люди на меня смотрели, чтобы во всем соображаться со мною. Я везде, как в зеркале, видел себя с ног до головы: все мои движения были срисованы и повторены с величайшею верностию. Это забавляло меня до крайности. Но главным моим предметом были женщины, которых лестное внимание открывало мне обширное поле деятельности. Здесь не могу удержаться от некоторых философических рассуждений. Влюбленность — извините новое слово: оно выражает вещь — влюбленность, говорю, есть самое благодетельное изобретение для света, который без нее походил бы на монастырь Латрапский. Но с нею молодые люди наипрекраснейшим образом занимают пустоту жизни. Открывая глаза, знаешь, о чем думать; являясь в обществах, знаешь, кого искать глазами; все имеет цель свою. Правда, что мужья иногда досадуют; что жены иногда дурачатся от ревности; но мы заняты, — а это главное! С одной стороны, искусство нравиться, с другой — искусство притворяться и самого себя обманывать не дают засыпать сердцу. Часто выходит беспорядок в семействах, но он имеет свою приятность. Сцены обморока, отчаяния для знатоков живописны. Sauve qui peut[1], всякий о себе думай — и довольно!

Будучи модным прелестником, я имел счастие поссорить многих коротких приятельниц между собою и развести не одну жену с мужем. Всякая соблазнительная история более и более прославляла меня. О характере моем говорили ужасы: это самое возбуждало любопытство, которое действует весьма живо и сильно в женском сердце. Система моя в любви была самая надежная; я тиранил женщин то холодностию, то ревностию; являлся не прежде десяти часов вечера на *любовное дежурство*, садился на оттомане, зевал, пил гофмановы капли или начинал хвалить другую женщину; тайная досада, упреки, слезы веселили меня недель шесть, иногда гораздо долее; наконец следовал разрыв связи — и новый мир-

---

[1] Спасайся, кто может! *(фр.)*

товый венок падал мне на голову. Справедливость требует от меня признания, что не все красавицы были моими Дидонами: нет, одна из них, вышедши из терпения, осмелилась указать мне на двери. Я был в отчаянии — и на другой день представил ее в живой карикатуре: заставил всех смеяться и сам утешился.

Вдруг пришло мне на мысль жениться, не столько в угождение матери (отца моего уже не было на свете), сколько для того, чтобы завести у себя в доме благородный спектакль, который мог служить для меня приятным рассеянием среди трудных обязанностей модного человека. Я выбрал прекрасную небогатую девушку (хорошо воспитанную в одном знатном доме), надеясь, что она из благодарности оставит меня в покое, и в сих мыслях обещался на другой день ужинать, по обыкновению, с глазу на глаз с резвою Алиною, которая тогда занимала меня своею любезностию. Вышло напротив. Эмилия из благодарности считала за долг быть нежною, страстною женою, а нежность и страсть всегда ревнивы. Философия моя заставляла ее плакать, рваться: я вооружился терпением, смотрел, слушал равнодушно; играл ее шалью — и зевал, воображая, что бури непродолжительны, особливо женские. В самом деле, Эмилия мало-помалу приходила в рассудок, утихала и становилась гораздо милее; томные взоры ее развеселялись, и легкие упреки произносились уже вполголоса, даже с улыбкою. Наконец я совершенно уверился в исправлении жены моей, видя вокруг ее толпу искателей. Дом наш сделался оттого гораздо приятнее: Эмилия перестала грубить молодым женщинам и всячески старалась заслужить имя любезной хозяйки. Мы набрали к себе в дом италиянских кастратов, играли оперы, комедии, давали маленькие балы, большие ужины — подписывали счеты, но никогда не считали, — занимали деньги и никогда не имели их, — одним словом, жили прекрасно!

Одна мать моя, у которой от старости испортился нрав, была недовольна и часто упрекала меня ветреною безрассудностию; говорила, что мы разоряемся; говорила даже, что Эмилия дурно ведет себя! Но я — зевал и,

как должно хорошему сыну, советовал ей беречь свое здоровье, то есть не сердиться. Она не хотела послушаться и прежде времени отправилась на тот свет. Бедная! Мы пожалели об ней — тем искреннее, что ее смерть на несколько месяцев расстроила наши спектакли.

Скоро в хозяйстве нашем окрылись маленькие неприятности: иногда накануне большого ужина дворецкий сказывал мне, что у него нет ни рубля на расход и что он нигде не мог занять денег. В таком случае я обыкновенно выгонял его из комнаты — и ужин бывал прекрасный. Являлись добрые люди с товарами: одни продавали мне на вексель, другие в ту же минуту покупали у меня на чистые деньги, и дело было с концом. Но время от времени встречалось более трудностей, и часто за вексель в тысячу рублей давали мне только дюжин шесть помады! Уведомляю читателя, что искусные люди, которых профаны называют ростовщиками, знают наизусть все нужды и все коммерческие способы богатых мотов; взяв карандаш в руку, они в минуту исчисляют, во сколько лет, месяцев, дней и часов такой-то останется без души христианской; по сему верному расчету служат ближнему деятельно, усердно и редко обманываются. Наши отечественные лихоимцы прежде всех других оставляют человека на славном и широком пути разорения, подобно меланхолическим докторам, которые слишком рано осуждают больных на смерть; они отдают его на руки иностранным ростовщикам: немцы уступают место французам, французы — италиянцам, италиянцы — грекам; в эту последнюю эпоху рубль мота ходит уже в копейке. Я спокойно прошел сквозь всю жидовскую фалангу и стоял уже на последней ступени. Имение мое записывали, продавали с публичного торгу, но я все еще не унывал и в самый тот день, как меня выгнали из дому, думал играть главную ролю в комедии «Беспечного». Жестокие заимодавцы не хотели видеть спектакля — и мне надлежало искать убежища в доме одного моего родственника.

Если читатель удивится, что семь или восемь тысяч душ моих так скоро исчезли с дымом, то он, без сомне-

ния, не знает умножительной силы долгов, считаемых не должником, а заимодавцами; векселя, как полипы, чудесным образом плодятся, если завеса беспечности скрывает следствия от глаз рассудка. К тому же всякий почтенный мот находит верных сотрудников в своих управителях и дворецких, которые всячески облегчают бремя господского имения, приметив, что оно угнетает господина. — Я назвал мота почтенным и спешу оправдаться. Он есть благодетель отечества и народа, разделяя с обществом свое богатство. Собиратель подобен жадной реке, которая течет в прямой линии, глотает ручейки и потоки, влажит только берега свои и сушит окрестности, но расточителя можно сравнить с рекою щедрою, которая делится на тысячу рукавов, сообщает влагу свою великому пространству и, мало-помалу исчезая, делается жертвою благотворительности.

Кому угодно, тот может вообразить меня спокойно и даже гордо идущего по улице; два человека несли за мною две корзины, наполненные любовными женскими письмами: единственное сокровище, которое заимодавцы позволили мне вынести из дому! Родственник принял меня холодно и с упреком. Эмилия приехала к нему вслед за мною и, забыв, что мы вместе проживали имение, осыпала меня жестокими укоризнами, объявила торжественно, что союз наш разрывается, села в карету и скрылась. Я летел к женщине, которая за день перед тем уверяла меня в любви своей, — меня не приняли, летел ко многочисленным друзьям моим — одних не было дома, другие вздумали читать мне наизусть книжные наставления, как должно быть умеренным и благоразумным в жизни! Им надлежало бы говорить о том, когда я угощал их. — В прибавок ко всему меня выгнали из службы, как распутного человека.

Такие случаи и неприятности могли бы огорчить другого, но я родился философом — сносил все равнодушно и твердил любимое слово свое: «Китайские тени! Китайские тени!» Всего хуже было то, что заимодавцы, недовольные остатками моего имения, грозились посадить

меня в тюрьму. Признаюсь, что мысль о темной конурке пугала и самую мою философию.

Месяца через два приехал ко мне один богатый князь с требованием, чтобы я подписал некоторую бумагу, и с обещанием удовольствовать моих кредиторов; то есть мне надлежало взвести на себя небылицу, которая давала Эмилии право избрать другого мужа. Я сперва захохотал, а после задумался, воображая, с одной стороны, ужасы темницы, а с другой — злые насмешки людей. Между тем князь говорил о своей благодарности, признался, что он намерен жениться на Эмилии, желая спасти ее от бедствий нищеты, предлагал мне свою дружбу, уверял, что дом его будет моим домом, даже звал меня жить к себе. Тут *счастливая мысль* пришла мне в голову: я подписал бумагу.

Эмилия красноречивым письмом изъявила мне свою признательность (она вышла за князя, который немедленно выкупил мои векселя) и в заключение говорила: «Мы не умели быть счастливыми супругами: будем по крайней мере нежными друзьями! Муж мой клянется любить вас как брата». — Я спешил уверить ее в своей чувствительности — и с того времени поселился у князя, обедал, ужинал с Эмилиею, казался томным, печальным и, оставаясь наедине с нею, говорил со слезами о прежней своей безрассудности, о моем сердечном раскаянии, о потерянном навеки счастии, то есть имени супруга любезнейшей женщины в свете. Сперва она шутила, но мало-помалу начала слушать меня с важным видом и задумываться. Надобно знать, что князь был человек пожилой и весьма неприятный наружностью. Часто глаза ее тихонько сравнивали нас и с выражением горести потуплялись в землю. Эмилия некогда любила меня; перестав быть ее мужем, я казался ей тем любезнее. Боясь света, который громко осуждал ее второе замужество, она вела уединенную жизнь; уединение же, как известно, питает страсти. Женщина, самая романтическая, в некоторых обстоятельствах может прельститься богатством, но богатство теряет для нее всю свою цену при первом движении сердца. Не хочу томить

читателя долгим приуготовлением. *План мой* счастливо исполнился. Мы изъяснились. Эмилия отдалась мне со всеми знаками живейшей страсти, а я через минуту едва мог удержаться от смеха, воображая странность победы своей и новость такой связи. — Старый муж отмстил новому, но мне еще не довольно было восторгов Эмилии, тайных свиданий, нежных писем: я хотел громкой славы! Я предложил своей жене-любовнице уйти со мною. Она испугалась — описывала наше положение самым счастливым (ибо князь стыдился ревновать ко мне) — предвидела ужас света, если мы отважимся на такой неслыханный пример разврата, — и заклинала меня со слезами сжалиться над ее судьбою. Но женщина, которая преступила уже многие (по словам моралистов) должности, не может ни в чем отвечать за себя. Я хотел непременно, требовал, грозил (помнится) застрелить себя — и через несколько дней мы очутились на Мо — ской дороге.

Торжество мое было совершенно; я живо представлял себе изумление бедного князя и всех честных людей; сравнивал себя с романтическими ловеласами и ставил их под ногами своими: они увозили любовниц, а я увез бывшую жену мою от второго мужа! Эмилия грустила, но утешилась мыслью, что она следует движению непобедимого чувства и что любовь ее ко мне есть героическая, — утешение, к которому обыкновенно прибегают женщины в заблуждениях страсти или воображения!

В М—е знатные мои родственники не хотели пустить меня в дом, а набожные тетки и бабушки, встречаясь со мною на улице, крестились от ужаса. Зато некоторые молодые люди удивлялись смелости моего дела и признавали меня своим героем. Я покоился на лаврах, не боясь никаких следствий: ибо добрый князь, заключив горесть в сердце, не жаловался никому и говорил своим знакомым, что он сам отправил жену в М—у для экономии. Эмилия продала свои бриллианты, и мы жили недурно; но она жаловалась иногда на мое равнодушие и, наконец, узнав, что я вошел в связь с одною известною

ветреницею, слегла в постелю, сказала мне, что, быв женою, она могла сносить мои неверности, но, сделавшись любовницею, умирает от них. Эмилия сдержала слово — и при смерти своей говорила мне такие вещи, от которых волосы мои стали бы дыбом, если бы, к несчастию, была во мне хотя искра совести; но я слушал холодно и заснул спокойно; только в ту ночь видел страшный сон, который, без сомнения, не сбудется в здешнем свете.

Не хочу говорить о дальнейших моих любовных приключениях, которые не имели в себе никакого особенного блеска, хотя мне удалось еще разорить двух или трех женщин (правда, немолодых). Видя наконец, что лета и невоздержность кладут на лицо мое угрюмую печать свою, я решился взять другие меры, сделался ростовщиком и, сверх того, забавником, шутом, поверенным мужей и жен в их маленьких слабостях. Мудрено ли, что мне снова отворен вход во многие именитые домы? Такие люди нужны на всякий случай. Одним словом, я доволен своим положением и, видя во всем действие необходимой судьбы, ни одной минуты в жизни моей не омрачил горестным раскаянием. Если бы я мог возвратить прошедшее, то думаю, что повторил бы снова все дела свои: захотел бы опять укусить ногу папе, распутствовать в Париже, пить в Лондоне, играть любовные комедии на театре и в свете, промотать имение и увезти жену свою от второго мужа. Правда, что некоторые люди смотрят на меня с презрением и говорят, что я остыдил род свой, что знатная фамилия есть обязанность быть полезным человеком в государстве и добродетельным гражданином в отечестве. Но поверю ли им, видя, с другой стороны, как многие из наших любезных соотечественников стараются подражать мне, живут без цели, женятся без любви, разводятся для забавы и разоряются для ужинов! Нет, нет! Я совершил свое предопределение и, подобно страннику, который, стоя на высоте, с удовольствием обнимает взором пройденные им места, радостно вспоминаю, что было с мною, и говорю себе: так я жил!

Граф NN

1802

ПРЕДИСЛОВИЕ
(к «Истории Государства Российского»)

История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, необходимая; зерцало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего.

Правители, законодатели действуют по указаниям истории, и смотрят на ее листы, как мореплаватели на чертежи морей. Мудрость человеческая имеет нужду в опытах, а жизнь кратковременна. Должно знать, как искони мятежные страсти волновали гражданское общество и какими способами благотворная власть ума обуздывала их бурное стремление, чтобы учредить порядок, согласить выгоды людей и даровать им возможное на земле счастие.

Но и простой гражданин должен читать историю. Она мирит его с несовершенством видимого порядка вещей, как с обыкновенным явлением во всех веках; утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали подобные, бывали еще ужаснейшие, и государство не разрушалось; она питает нравственное чувство и праведным судом своим располагает душу к справедливости, которая утверждает наше благо и согласие общества.

Вот польза: сколько же удовольствий для сердца и разума! Любопытство сродно человеку, и просвещенному и дикому. На славных играх олимпийских умолкал шум и толпы безмолвствовали вокруг Геродота, читающего предания веков. Еще не зная употребления букв, народы уже любят историю: старец указывает юноше на высокую могилу и повествует о делах лежащего в ней героя. Первые опыты наших предков в искусстве грамоты были посвящены вере и дееписанию; омраченный густою сенью невежества народ с жадностию внимал сказаниям летописцев. И вымыслы нравятся: но для полного удовольствия должно обманывать себя и думать, что они истина. История, отверзая гробы, поднимая мертвых, влагая им жизнь в сердце и слово в уста, из тления вновь созидая царства и представляя воображению ряд веков с их отличными страстями, нравами, деяниями, расширяет пределы нашего собственного бытия; ее творческою

силою мы живем с людьми всех времен, видим и слышим их, любим и ненавидим; еще не думая о пользе, уже наслаждаемся созерцанием многообразных случаев и характеров, которые занимают ум или питают чувствительность.

Если всякая история, даже и неискусно писанная, бывает приятна, как говорит Плиний: тем более отечественная. Истинный космополит есть существо метафизическое или столь необыкновенное явление, что нет нужды говорить об нем, ни хвалить, ни осуждать его. Мы все граждане, в Европе и в Индии, в Мексике и в Абиссинии; личность каждого тесно связана с отечеством: любим его, ибо любим себя. Пусть греки, римляне пленяют воображение; они принадлежат к семейству рода человеческого и нам не чужие по своим добродетелям и слабостям, славе и бедствиям: но имя русское имеет для нас особенную прелесть: сердце мое еще сильнее бьется за Пожарского, нежели за Фемистокла или Сципиона. Всемирная история великими воспоминаниями украшает мир для ума, а российская украшает отечество, где живем и чувствуем. Сколь привлекательны берега Волхова, Днепра, Дона, когда знаем, что в глубокой древности на них происходило! Не только Новгород, Киев, Владимир, но и хижины Ельца, Козельска, Галича делаются любопытными памятниками и немые предметы — красноречивыми. Тени минувших столетий везде рисуют картины перед нами.

Кроме особенного достоинства для нас, сынов России, ее летописи имеют общее. Взглянем на пространство сей единственной державы: мысль цепенеет; никогда Рим в своем величии не мог равняться с нею, господствуя от Тибра до Кавказа, Эльбы и песков африканских. Неудивительно ли, как земли, разделенные вечными преградами естества, неизмеримыми пустынями и лесами непроходимыми, хладными и жаркими климатами, как Астрахань и Лапландия, Сибирь и Бессарабия, могли составить одну державу с Москвою? Менее ли чудесна и смесь ее жителей, разноплеменных, разновидных и столь удаленных друг от друга в степенях образования? Подобно Америке, Россия имеет своих диких; подобно другим странам Европы — являет плоды долговременной гражданской жизни. Не надобно быть русским: надобно

только мыслить, чтобы с любопытством читать предания народа, который смелостию и мужеством снискал господство над девятою частию мира, открыл страны, никому дотоле не известные, внес их в общую систему географии, истории и просветил божественною верою, без насилия, без злодейств, употребленных другими ревнителями христианства в Европе и в Америке, но единственно примером лучшего.

Согласимся, что деяния, описанные Геродотом, Фукидидом, Ливием, для всякого не русского вообще занимательнее, представляя более душевной силы и живейшую игру страстей: ибо Греция и Рим были народными державами и просвещеннее России; однако ж смело можем сказать, что некоторые случаи, картины, характеры нашей истории любопытны не менее древних. Таковы суть подвиги Святослава, гроза Батыева, восстание россиян при Донском, падение Новагорода, взятие Казани, торжество народных добродетелей во время междуцарствия. Великаны сумрака, Олег и сын Игорев; простосердечный витязь, слепец Василько; друг отечества, благолюбивый Мономах; Мстиславы Храбрые, ужасные в битвах и пример незлобия в мире; Михаил Тверской, столь знаменитый великодушною смертью; злополучный, истинно мужественный Александр Невский; герой юноша, победитель Мамаев, в самом легком начертании сильно действуют на воображение и сердце. Одно государствование Иоанна III есть редкое богатство для истории: по крайней мере, не знаю монарха, достойнейшего жить и сиять в ее святилище. Лучи его славы падают на колыбель Петра — и между сими двумя самодержцами удивительный Иоанн IV; Годунов, достойный своего счастия и несчастия, странный Лжедимитрий; и за сонмом доблественных патриотов, бояр и граждан, наставник трона, первосвятитель Филарет с державным сыном, светоносцем во тьме наших государственных бедствий; и царь Алексий, мудрый отец императора, коего назвала Великим Европа. Или вся новая история должна безмолвствовать, или российская имеет право на внимание.

Знаю, что битвы нашего удельного междоусобия, гремящие без умолку в пространстве пяти веков, маловажны для разума; что сей предмет не богат ни мыслями

для прагматика, ни красотами для живописца; но история не роман и мир не сад, где все должно быть приятно: она изображает действительный мир. Видим на земле величественные горы и водопады, цветущие луга и долины; но сколько песков бесплодных и степей унылых! Однако ж путешествие вообще любезно человеку с живым чувством и воображением; в самых пустынях встречаются виды прелестные.

Не будем суеверны в нашем высоком понятии о дееписаниях древности. Если исключить из бессмертного творения Фукидидова вымышленные речи, что останется? Голый рассказ о междоусобии греческих городов: толпы злодействуют, режутся за честь Афин или Спарты, как у нас за честь Мономахова или Олегова дому. Не много разности, если забудем, что сии полутигры изъяснялись языком Гомера, имели Софокловы трагедии и статуи Фидиасовы. Глубокомысленный живописец Тацит всегда ли представляет нам великое, разительное? С умилением смотрим на Агриппину, несущую пепел Германика; с жалостью на рассеянные в лесу кости и доспехи легиона Варова; с ужасом на кровавый пир неистовых римлян, освещаемых пламенем Капитолия; с омерзением на чудовище тиранства, пожирающее остатки республиканских добродетелей в столице мира; но скучные тяжбы городов о праве иметь жреца в том или другом храме и сухой некролог римских чиновников занимают много листов в Таците. Он завидовал Титу Ливию в богатстве предмета; а Ливий, плавный, красноречивый, иногда целые книги наполняет известиями о сшибках и разбоях, которые едва ли важнее половецких набегов. — Одним словом, чтение всех историй требует некоторого терпения, более или менее награждаемого удовольствием.

Историк России мог бы, конечно, сказав несколько слов о происхождении ее главного народа, о составе государства, представить важные, достопамятнейшие черты древности в искусной *картине* и начать *обстоятельное* повествование с Иоаннова времени, или с XV века, когда совершилось одно из величайших государственных творений в мире: он написал бы легко 200 или 300 красноречивых, приятных страниц вместо многих книг, трудных для автора, утомительных для читателя.

Но сии *обозрения*, сии *картины* не заменяют летописей, и кто читал единственно Робертсоново введение в историю Карла V, тот еще не имеет основательного, истинного понятия о Европе средних времен. Мало что умный человек, окинув глазами памятники веков, скажет нам свои примечания: мы должны сами видеть действия и действующих — тогда знаем историю. Хвастливость авторского красноречия и нега читателей осудят ли на вечное забвение дела и судьбу наших предков? Они страдали и своими бедствиями изготовили наше величие: а мы не захотим и слушать о том, ни знать, кого они любили, кого обвиняли в своих несчастиях? Иноземцы могут пропустить скучное для них в нашей древней истории; но добрые россияне не обязаны ли иметь более терпения, следуя правилу государственной нравственности, которая ставит уважение к предкам в достоинство гражданину образованному?.. Так я мыслил и писал об *Игорях*, о *Всеволодах*, как *современник*, смотря на них в тусклое зеркало древней летописи с неутомимым вниманием, с искренним почтением; и если, вместо *живых, целых* образов, представлял единственно *тени, в отрывках*: то не моя вина — я не мог дополнять летописи!

Есть *три* рода истории: *первая* — современная, например Фукидидова, где очевидный свидетель говорит о происшествиях; *вторая,* как Тацитова, основывается на свежих словесных преданиях в близкое к описываемым действиям время; *третья* извлекается только из памятников, как наша до самого XVIII века[1].

В *первой* и *второй* блистает ум, воображение дееписателя, который избирает любопытнейшее, цветит, украшает, иногда *творит*, не боясь обличения; скажет: *я так видел, так слышал* — и безмолвная критика не мешает читателю наслаждаться прекрасными описаниями. *Третий* род есть самый ограниченный для таланта: нельзя прибавить ни одной черты к известному; нельзя вопрошать мертвых; говорим, что предали нам совре-

---

[1] Только с Петра Великого начинаются для нас словесные предания: мы слыхали от своих отцов и дедов об нем, о Екатерине I, Петре II, Анне, Елисавете многое, чего нет в книгах.

менники; молчим, если они умолчали — или справедливая критика заградит уста легкомысленному историку, обязанному представлять единственно то, что сохранилось от веков в летописях, в архивах. Древние имели право вымышлять *речи* согласно с характером людей, с обстоятельствами: право неоцененное для истинных дарований, и Ливий, пользуясь им, обогатил свои книги силою ума, красноречия, мудрых наставлений. Но мы, вопреки мнению аббата Мабли, не можем ныне витийствовать в истории. Новые успехи разума дали нам яснейшее понятие о свойстве и цели ее; здравый вкус уставил неизменные правила и навсегда отлучил дееписание от поэмы, от цветников красноречия, оставив в удел первому быть верным зерцалом минувшего, верным отзывом слов, действительно сказанных героями веков. Самая прекрасная выдуманная речь безобразит историю, посвященную не славе писателя, не удовольствию читателей и даже не мудрости нравоучительной, но только истине, которая уже сама собою делается источником удовольствия и пользы. Как естественная, так и гражданская история не терпит вымыслов, изображая, что есть или было, а не что быть *могло*. Но история, говорят, наполнена ложью: скажем лучше, что в ней, как в деле человеческом, бывает примесь лжи; однако ж характер истины всегда более или менее сохраняется; и сего довольно для нас, чтобы составить себе общее понятие о людях и деяниях. Тем взыскательнее и строже критика; тем непозволительнее историку, для выгод его дарования, обманывать добросовестных читателей, мыслить и говорить за героев, которые уже давно безмолвствуют в могилах. Что ж остается ему, прикованному, так сказать, к сухим хартиям древности? Порядок, ясность, сила, живопись. Он творит из данного вещества: не произведет золота из меди, но должен очистить и медь; должен знать всего цену и свойство; открывать великое, где оно таится, и малому не давать прав великого. Нет предмета столь бедного, чтобы искусство уже не могло в нем ознаменовать себя приятным для ума образом.

Доселе древние служат нам образцами. Никто не превзошел Ливия в красоте повествования, Тацита в силе:

вот главное! Знание всех прав на свете, ученость немецкая, остроумие Вольтерово, ни самое глубокомыслие Макиавелево в историке не заменяют таланта изображать действия. Англичане славятся Юмом, немцы Иоанном Мюллером, и справедливо[1]: оба суть достойные совместники древних, — не подражатели: ибо каждый век, каждый народ дает особенные краски искусному бытописателю. «Не подражай Тациту, но пиши, как писал бы он на твоем месте!» — есть правило гения. Хотел ли Мюллер, часто вставляя в рассказ нравственные *апофегмы*, уподобиться Тациту? не знаю; но сие желание блистать умом, или казаться глубокомысленным, едва ли не противно истинному вкусу. Историк рассуждает только в объяснение дел, там, где мысли его как бы дополняют описание. Заметим, что сии апофегмы бывают для основательных умов или полуистинами, или весьма обыкновенными истинами, которые не имеют большой цены в истории, где ищем действий и характеров. Искусное повествование есть *долг* бытописателя, а хорошая отдельная мысль — *дар*: читатель требует первого и благодарит за второе, когда уже требование его исполнено. Не так ли думал и благоразумный Юм, иногда весьма плодовитый в изъяснении причин, но до скупости умеренный в размышлениях? Историк, коего мы назвали бы совершеннейшим из новых, если бы он не излишно *чуждался* Англии, не излишно хвалился беспристрастием и тем не охладил своего изящного творения! В Фукидиде видим всегда афинского грека, в Ливии — всегда римлянина, и пленяемся ими, и верим им. Чувство: *мы, наше* — оживляет повествование — и как грубое пристрастие, следствие ума слабого или души слабой, несносно в историке, так любовь к отечеству дает его кисти жар, силу, прелесть. Где нет любви, нет и души.

Обращаюсь к труду моему. Не дозволяя себе никакого изобретения, я искал выражений в уме своем, а мыслей

---

[1] Говорю единственно о тех, которые писали целую историю народов. Феррерас, Даниель, Масков, Далин, Маллет не равняются с сими двумя историками; но, усердно хваля Мюллера — историка Швейцарии, знатоки не хвалят его вступления, которое можно назвать геологическою поэмою.

единственно в памятниках; искал духа и жизни в тлеющих хартиях; желал преданное нам веками соединить в систему, ясную стройным сближением частей; изображал не только бедствия и славу войны, но и все, что входит в состав гражданского бытия людей: успехи разума, искусства, обычаи, законы, промышленность; не боялся с важностию говорить о том, что уважалось предками; хотел, не изменяя своему веку, без гордости и насмешек описывать веки душевного младенчества, легковерия, баснословия; хотел представить и характер времени и характер летописцев: ибо одно казалось мне нужным для другого. Чем менее находил я известий, тем более дорожил и пользовался находимыми; тем менее выбирал: ибо не бедные, а богатые избирают. Надлежало или не сказать ничего, или сказать все о таком-то князе, дабы он жил в нашей памяти не одним сухим именем, но с некоторою нравственною физиономиею. Прилежно *истощая* материалы древнейшей российской истории, я ободрял себя мыслию, что в повествовании о временах отдаленных есть какая-то неизъяснимая прелесть для нашего воображения: там источники поэзии! Взор наш, в созерцании великого пространства, не стремится ли обыкновенно — мимо всего близкого, ясного — к концу горизонта, где густеют, меркнут тени и начинается непроницаемость?

Читатель заметит, что описываю деяния *не врознь*, по годам и дням, но *совокупляю* их для удобнейшего впечатления в памяти. Историк не летописец: последний смотрит единственно на время, а первый — на свойство и связь деяний; может ошибиться в распределении мест, но должен всему указать свое место.

Множество сделанных мною примечаний и выписок устрашает меня самого. Счастливы древние: они не ведали сего мелочного труда, в коем теряется половина времени, скучает ум, вянет воображение — тягостная жертва, приносимая *достоверности*, однако ж необходимая! Если бы все материалы были у нас собраны, изданы, очищены критикою, то мне оставалось бы единственно ссылаться; но когда большая часть их в рукопи-

сях, в темноте; когда едва ли что обработано, изъяснено, соглашено — надобно вооружиться терпением. В воле читателя заглядывать в сию пеструю смесь, которая служит иногда свидетельством, иногда объяснением или дополнением. Для охотников все бывает любопытно: старое имя, слово; малейшая черта древности дает повод к соображениям. С XV века уже менее выписываю: источники размножаются и делаются яснее.

Муж ученый и славный, Шлецер сказал, что наша история имеет пять главных периодов; что Россия от 862 года до Святополка должна быть названа *рождающеюся* (Nascens), от Ярослава до Моголов *разделенною* (Divisa), от Батыя до Иоанна III *угнетенною* (Oppressa), от Иоанна до Петра Великого *победоносною* (Victrix), от Петра до Екатерины II *процветающею*. Сия мысль кажется мне более остроумною, нежели основательною. 1) Век св. Владимира был уже веком могущества и славы, а не *рождения*. 2) Государство *делилось* и прежде 1015 года. 3) Если по внутреннему состоянию и внешним действиям России надобно означать периоды, то можно ли смешать в один время великого князя Димитрия Александровича и Донского, безмолвное рабство с победою и славою? 4) Век самозванцев ознаменован более злосчастием, нежели победою. Гораздо лучше, истиннее, скромнее история наша делится на *Древнейшую*, от Рюрика до Иоанна III, на *Среднюю*, от Иоанна до Петра, и *Новую*, от Петра до Александра. Система уделов была характером *первой* эпохи, единовластие — *второй*, изменение гражданских обычаев — *третьей*. Впрочем, нет нужды ставить грани там, где места служат живым урочищем.

С охотою и ревностию посвятив двенадцать лет, и лучшее время моей жизни, на сочинение сих осьми или девяти томов, могу по слабости желать хвалы и бояться охуждения; но смею сказать, что это для меня не главное. Одно славолюбие не могло бы дать мне твердости постоянной, долговременной, необходимой в таком деле, если бы не находил я истинного удовольствия в самом труде и не имел надежды быть полезным, то есть сделать рос-

сийскую историю известнее для многих, даже и для строгих моих судей.

Благодаря всех, и живых и мертвых, коих ум, знания, таланты, искусство служили мне руководством, поручаю себя снисходительности добрых сограждан. Мы одно любим, одного желаем: любим отечество; желаем ему благоденствия еще более, нежели славы; желаем, да не изменится никогда твердое основание нашего величия; да правила мудрого самодержавия и святой веры более и более укрепляют союз частей; да цветет Россия... по крайней мере долго, долго, если на земле нет ничего бессмертного, кроме души человеческой!

Декабря 7, 1815

КОММЕНТАРИИ

«Бедная Лиза». — Впервые: «Московский журнал». 1792. Ч. VI. *Си...нов монастырь.* — Имеется в виду Симонов монастырь. Основан около 1370 г. монахом Федором, племянником преподобного Сергия Радонежского. В 1379 г. монастырь перенесен на то место, где видел его Карамзин (далее — К.) (ранее он находился несколько южнее), и посвящен Успению Богородицы. После чумы 1771 г., когда в стенах монастыря находился лазарет, монастырь был закрыт (вновь открылся в 1795 г.). Разрушен в 1930 г. *«Цинтия»* — одно из имен девственной богини Дианы, иногда отождествляемой с луной.

«Наталья, боярская дочь». — Впервые: «Московский журнал». 1792. Ч. VIII. *...ни Локка «О воспитании», ни Руссова «Эмиля»...* — Имеются в виду трактат Д. Локка «Некоторые мысли о воспитании» (1693) и «педагогический роман» Ж.-Ж. Руссо «Эмиль, или О воспитании» (1762). *Красные ворота.* — Парадная арка с таким названием была воздвигнута в 1842 г. на месте, ныне именуемом Лермонтовской площадью. Не сохранилась. *Стерн* Лоренс (1713—1768), английский писатель, высоко ценимый К. Повествовательная манера «Натальи, боярской дочери» в самом общем плане ориентирована на поэтику Стерна (отступления, переходы от пафоса к легкой насмешке, самоирония).

«Остров Борнгольм». — Впервые: «Аглая». М., 1794. Ч. 1. *Англия была крайним пределом моего путешествия.* — Отсылка к «Письмам русского путешественника» (воспринимаемым публикой в «документальном» ключе) должна свидетельствовать о достоверности дальнейшего рассказа. *...приятель мой доктор NN.* — Датский химик Готфрид Беккер (1767—1845), путешествовавший вместе с К. по Швейцарии; несколько раз упоминается в «Письмах...» *Виланд* Христоф

Мартин (1733—1813), немецкий писатель. Визит К. к Виланду описан в «Письмах...» (Веймар, 21 июля). *Нет для смертных невозможного.* — Гораций. Оды. I. 3.

«Сиерра-Морена». — Впервые: «Аглая». М., 1795. Ч. 2. *Пальмира* — город в Сирии.

«Марфа-посадница, или Покорение Новагорода». — Впервые: «Вестник Европы». 1803. № 1—3. Великий князь московский Иван III Васильевич (1440—1505; правил с 1462) был любимым историческим героем К. (ср. его оценку в «Предисловии» к «Истории государства Российского»). Описывая взаимоотношения «мудрого Иоанна» с новгородской республикой, К. сознательно отступает от источников: в повести соединены ситуации 1471 года (поход Ивана III на Новгород, битва на реке Шелони, признание городом власти московского государя) и 1478 года (окончательная ликвидация новгородских вольностей); почти ничего не говорится о пролитовской политике партии Борецких (договор с великим князем литовским и королем польским Казимиром; 1471); героиня повести Марфа Борецкая была не казнена, но заточена в монастырь в 1478 году; ее сын Федор Исаакович был вывезен в Москву ранее (1475). В повести действуют вымышленные персонажи (подкидыш Мирослав, старец Феодосий, Михаил Храбрый и др.). Через несколько месяцев по издании повести К. вновь обратился к ее героине в статье «Известие о Марфе-посаднице, взятое из жития св. Зосимы». *...быть Катоном своей республики.* — Марк Порций Катон (95—46 до н. э.), республиканец и апологет старинных римских добродетелей; покончил с собой после того, как Цезарь нанес поражение Помпею. Прославленный поэмой Лукана «Фарсалия», жизнеописанием Плутарха, а в XVIII веке популярной трагедией Джозефа Аддисона (1713), римский герой стал фигурой символической. Катон и его гражданственное самоубийство привлекали сочувственное внимание А. Н. Радищева. К., неоднократно обращавшийся к образу Катона, оценивал его в разные моменты по-разному, но всегда с глубокой личной заинтересованностью. *Вадим.* — «Хотя новейшие Летописцы говорят, что Славяне скоро (по призвании варяжских князей в 862 г. — *А. Н.*) вознегодовали на рабство, и какой-то Вадим, именуемый *Храбрым*, пал от руки сильного Рюрика вместе со многими из своих единомышленников в Новегороде — слу-

чай вероятный: люди, привыкшие к вольности, от ужасов безначалия могли пожелать Властителей, но могли и раскаяться, *ежели* Варяги, единоземцы и друзья Рюриковы, утесняли их — однако ж сие известие, не будучи основано на древних сказаниях Нестора, кажется одною догадкою и вымыслом». Легенда о Вадиме обрабатывалась Екатериной II («Из жизни Рюрика»; 1786; заканчивается примирением Вадима с самодержцем) и Я. Б. Княжниным («Вадим Новгородский»; 1789). Опубликованная по смерти Княжнина в 1793 году трагедия вызвала гнев императрицы; тираж ее был уничтожен, это способствовало как укреплению «тираноборческой» репутации трагедии (что не вполне соответствует ее пафосу), так и популярности Вадимовой легенды. Вадим (наряду с Марфой-посадницей) — один из любимых персонажей вольнолюбивой словесности первой четверти XIX века; модным становится даже его имя, иногда утрачивающее «республиканскую» семантику (ср. героя второй баллады из «старинной повести» Жуковского «Двенадцать спящих дев»; Вадимом назвал своего сына Д. Н. Блудов). *...берега Камы были свидетелями побед наших.* — Имеется в виду поход московского войска на черемисов (1468). *...над могилами князей Георгия, Андрея, Михаила.* — Имеются в виду павший в битве на реке Сити великий князь владимирский Георгий (Юрий) Всеволодович (1188—1238) и погибший в Орде св. князь Михаил Черниговский (1179—1246); о каком князе по имени Андрей говорит К., неясно. *Димитрий, поразив Мамая, не освободил России...* — Победа на Куликовом поле (1380) не освободила Русь от Орды; концом татарского ига считается 1480 год (стояние на Угре), хотя Иван III и прежде не платил дани хану Ахмату (см. ниже в монологе Марфы). *Когда великая Империя...* — К. датирует выход славян на «феатр Истории» концом V—VI в. *Баян.* — Ср.: «Область Аваров в 568 году простиралась от Волги до Эльбы <...> Уже Анты, Богемские Чехи, Моравы служили Хану; но собственно так называемые Дунайские Славяне хранили свою независимость, и еще в 581 году многочисленное войско их опустошило Фракию и другие владения Имперские до самой Эллады или Греции. Тиверий царствовал в Константинополе: озабоченный войною Персидскою, он не мог отразить Славян и склонил Хана отмстить им впадением в страну их <...> Хан требовал от Славян подданства; но Лавритас и другие Вожди их ответствовали: «Кто может лишить нас вольности? Мы привыкли отнимать земли, а не

уступать свои врагам. Так будет и впредь, доколе есть война и мечи в свете» <...> Баян <...> надеялся собрать великое богатство в земле Славян <...> Он вступил в нее с шестидесятью тысячами отборных конных латников, начал грабить селения, жечь поля, истреблять жителей, которые только в бегстве и в густоте лесов искали спасения. — С того времени ослабело могущество Славян...». *...должен был упасть к ногам Сартака.* — Св. Александр Невский (1220—1263; князь новгородский в 1236—1251; великий князь владимирский с 1252), победитель шведов в Невской битве (1240) и тевтонских рыцарей в битве на Чудском озере (1242), последовательно проводил протатарскую политику, установив дружественные отношения с ханом Батыем и его сыном Сартаком.

«Мелодор к Филалету. Филалет к Мелодору». — Впервые: «Аглая». М., 1795. Ч. 2. «Мелодор» — даритель песен (*греч.*), т. е. поэт; «Филалет» — любитель истины (*греч.*), т. е. философ. *Ликург* — легендарный спартанский законодатель; *Солон* (ок. 640 — ок. 560 до н. э.) — афинский законодатель и мудрец; *Кодр* — легендарный царь Афин, спасший город ценой жизни; *Фидий* (V в. до н. э.) — скульптор; *Зевксис* (V—IV вв. до н. э.) — живописец. *Квинт Курций* (I—II вв.) — римский историк. *«Ты безумец».* — Отождествляя атеизм с безумием, К. напоминает первый стих тринадцатого псалма Давидова: «Сказал безумец в сердце своем «нет Бога». Ср. у К. «Песнь Божеству» (1793), «сочиненную на тот случай, когда безумец Дюмон сказал во французском Конвенте: «Нет Бога» (примеч. К.). *Кребильйон* — Клод Проспер Жолио де Кребийон (1707—1777), популярный автор «соблазнительных» романов. *Питтиас* (Питтий) и *Дамон* — легендарные верные друзья. *Грессет* — Луи Грессе (1709—1777), французский поэт. *Эпикур* (341—270 до н. э.) — древнегреческий философ; Тит *Лукреций* Карр (ок. 99—55 до н. э.), римский философ, сделавший из учения Эпикура мрачные выводы о враждебности природы человеку. *Лиссабонское землетрясение.* — 1 ноября 1755 г. столица Португалии подверглась чудовищным разрушениям. Это событие произвело огромное впечатление на интеллектуальную Европу. Вольтеровская «Поэма о гибели Лиссабона, или Проверка аксиомы «Все благо» (1756) резко оспаривала Лейбницеву теорию «предустановленной гармонии» (позднее эта тема была продолжена

Вольтером в повести «Кандид, или Оптимизм»). Сицилийский город Мессина разрушался землетрясениями неоднократно. *Боннет* — Шарль Бонне (1720—1793), швейцарский мыслитель и естествоиспытатель; общение с ним К. восторженно описывает в «Письмах...». *Там, там за синим океаном...* — заключительные строки «Послания к Дмитриеву»; см. ниже.

«Послание к Дмитриеву». — Впервые: Мои безделки. М., 1794. Ч. 2. Ответ на «Стансы к Н. М. Карамзину» (1793) И. И. Дмитриева; ср. финальные строфы: «О любимый сын природы,/ Нежный, милый наш певец!/ Скоро ль отческие воды/ Нас увидят наконец? // Скоро ль мы на Волгу кинем/ Радостный, сыновний взор,/ Всех родных своих обнимем/ И составим братский хор? // С нами то же, что со цветом:/ Был — и нет его чрез день./ Ах, уклонимся ж хоть летом/ Древ домашних мы под тень. // Скажем им: «Древа! примите/ Вы усталых пришлецов/ И с приязнью обнимите/ В них друзей и земляков! // Было время, что играли/ Здесь под тенью мы густой —/ Вы цветете... мы увяли,/ Дайте старости покой». *С Платоном республик нам не учредить.* — Сохраняя устойчивый интерес к утопическим построениям вообще и «Платоновой республике мудрецов» в частности, К. уже в 1791 г. писал: «Сия прекрасная мечта представлена в живой картине, и при конце ясно показано, что Платон сам чувствовал невозможность ее». (Рецензия на русский перевод «Утопии» Томаса Мора, принципы которой, согласно К., «никогда не могут быть произведены в действо». — Московский журнал». 1791. Ч. 1). *Питтак* (650—569 до н.э.), *Фалес* (640—540 до н. э.), *Зенон* (336—224 до н. э.) — древнегреческие мудрецы. *Сатурн на землю возвратился.* — Царство Сатурна (Крона) — «золотой век». *Сократ* (469—339 до н.э.) был приговорен к смерти афинским народным собранием и, уважая его волю, принял яд. *Отелло в старости своей...* — Далее вольный пересказ монолога Отелло перед сенатом.

«Послание к Александру Алексеевичу Плещееву». — Впервые: Аониды. М., 1796. Кн. 1. Адресат послания — А. А. Плещеев (ок. 1775—1827), сын ближайших друзей К., позднее друг Жуковского, член «Арзамаса». *Эпименид* (VII в. до н. э.), *Хилон* (VI в. до н. э.), *Критон* (конец V в. до н. э.), *Бион* (IV—III вв. до н. э.), *Симмий* (V—IV вв. до н. э.), *Стильпон* (IV в. до н. э.), *Эрмий* (V—IV вв. до н. э.), *Эсхин* (IV в. до

н. э.) — древнегреческие философы разной степени известности. *Япетов сын* — Прометей. *Смельчак, Америку открывший...* — Христофор Колумб (1451—1506) после смещения с должности вице-короля открытых им земель (1500) был отправлен в Испанию закованным в цепи. *Анахорет* — отшельник.

«Моя исповедь». — «Вестник Европы». 1802. № 6. *Ришелье* Луи Франсуа Арман (1696—1788), герцог, внучатый племянник кардинала Ришелье, прославился любовными похождениями. *...чтение Лагарповой «Мелании».* — Запрещенная цензурой трагедия Ж. Ф. Лагарпа (1739—1803). *Петроний* (I в. н. э.), римский писатель, традиционно считающийся автором «Сатирикона»; в одном из сохранившихся фрагментов этого сочинения описано роскошное до извращенности пиршество. *«...подобно Альцибиаду...»* — полководцу Алкивиаду (ок.450 — ок. 404 до н. э.) пришлось служить не только родным Афинам, но и враждебной им Спарте. *«Монастырь Латраппский»,* т. е. ордена траппистов, известного строгим уставом. *Дидона* — героиня «Энеиды» Вергилия, царица Карфагена; покончила с собой, узнав, что Эней ее оставил.

«Предисловие» <К «Истории государства Российского»>.
На славных играх олимпийских умолкал шум... — Геродот (между 490 и 480 — ок. 425 до н. э.), древнегреческий «отец истории»; эпизод чтения им «Истории» на олимпийских играх в присутствии упоминаемого ниже историка Фукидида (ок. 460—400 до н. э.) заимствован из «Эмилиевых писем» (1790) М. Н. Муравьева и отозвался в стихотворениях К. Н. Батюшкова «К Творцу «Истории государства Российского» (1818) и послании А. С. Пушкина «Жуковскому» (1818). *...некоторые случаи, картины, характеры нашей истории любопытны не менее древних.* — Эта мысль постоянно высказывалась К. еще в период «Вестника Европы» (1802—1803) (см. статьи «О случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом художеств», «Известие о Марфе-посаднице, взятое из жития св. Зосимы»). *Тацит* Публий Корнелий (ок. 58 — ок. 117), римский историк; далее перечислены эпизоды его книг: Агриппина Випсания (ум. 33 г. н. э.; внучка Августа) с прахом ее мужа Юлия Цезаря Германика (ум. 19 г. н. э.; племянник императора Тиберия). — «Анналы», кн. 3, гл. 1; гибель легионов Квинтилия

Вара, потерпевших поражение от германцев в Тевтобургском лесу (9 г. н. э.) — «Анналы», кн. 1, гл. 61; пожар Рима при Нероне (64 г. н. э.) — «Анналы», кн. 14, гл. 38—39. *Тит Ливий* (59 до н. э. — 17 н. э.), автор «Истории Рима от основания города». *Робертсон* Уильям (1721—1793), английский историк, высоко ценимый К. *Мабли* Габриэль Бонно де (1709—1805), французский историк и политический мыслитель. *...остроумие Вольтерово...* — Французский писатель и мыслитель Вольтер (Мари Франсу Аруэ; 1694—1778) оставил ряд исторических трудов. *...глубокомыслие Макиавелево...* — Итальянский политический мыслитель Никколо Макиавелли (1469—1527) был автором «Истории Флоренции». *Юм* Давид (1711—1776), английский философ и историк. *Шлецер* Август Людвиг (1735—1809), немецкий историк; в 1761—1767 гг. служил в Петербурге; занимался начальным периодом русской истории, изучал летописи.

МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ

И. И. Дмитриев

ВЗГЛЯД НА МОЮ ЖИЗНЬ

<...> В 1770 году в провинциальном городе Симбирске старший брат мой и я, десятилетний отрок, находились на свадебном пиру под руководством нашего учителя г. Манженя. В толпе пирующих увидел я в первый раз *пятилетнего* мальчика в шелковом перувьеневом камзольчике с рукавами, которого русская нянюшка подводила за руку к новобрачной и окружавшим ее барыням. Это был будущий наш историограф Карамзин. Отец его, симбирский помещик, отставной капитан Михайла Егорович соединился вторым браком с роднею сестрою моего родителя, воспитанною по ее сиротству в нашем семействе.

С того времени до зрелого моего возраста я не имел случая видеть его; знал только, что он в отрочестве своем обучаем был немецкому языку тамошним пятидесятилетним врачом, которого прозвище я позабыл, но очень помню, не потому, что он был с горбом, но по его привлекательной физиономии. Он говорил тихо; в глазах и на устах его обнаруживались кротость и человеколюбие. Я узнал и полюбил его по случаю болезни младшего брата моего, еще младенца, который от оспы несколько дней не мог раскрывать глаз. Добрый старик думал утешить его, привозя к нему разные детские гостинцы; но эти вещи лишь более раздражали больного, потому что <он> не мог их видеть. Тогда он обратился к другому средству: привез к нему свой маленький клавесин и в каждое посещение играл на нем разные штучки, сидя подле кровати младенца, желая тем сколько-нибудь развлекать его и успокоивать.

С приближением юношеского возраста Карамзин отправ-

лен был в Москву и отдан в учебное заведение г. Шадена, одного из лучших профессоров Московского университета, где и находился до вступления в настоящую службу. По тогдашнему обыкновению или злоупотреблению в гвардейских полках он записан был, так же как и я, еще малолетним в Преображенский полк подпрапорщиком. С того времени началось наше знакомство, и вот каким образом.

Однажды я, будучи еще и сам сержантом, возвращаюсь с прогулки; слуга мой, встретя меня на крыльце, сказывает мне, что кто-то ждет меня, приехавший из Симбирска. Вхожу в горницу и вижу румяного, миловидного юношу, который с приятною улыбкою вручает мне письмо от моего родителя. Стоило только услышать имя Карамзина, как он уже был в моих объятиях; стоило нам сойтись два, три раза, как мы уже стали короткими знакомцами.

Едва ли не с год мы были почти неразлучными; склонность наша к словесности, может быть, что-то сходное и в нравственных качествах укрепляли связь нашу день ото дня более. Мы давали взаимный отчет в нашем чтении, между тем я показывал ему иногда и мелкие мои переводы, которые были печатаемы особо и в тогдашних журналах. Следуя моему примеру, он и сам принялся за переводы. Первым опытом его был «Разговор австрийской Марии Терезии с нашей императрицею Елисаветою в Елисейских полях», переложенный им с немецкого языка. Я советовал ему показать его книгопродавцу Миллеру, который покупал и печатал переводы, платя за них, по произвольной оценке и согласию с переводчиком, книгами из своей книжной лавки. Не могу и теперь вспомнить без удовольствия, с каким торжественным видом добрый и милый юноша Карамзин вбежал ко мне, держа в обеих руках по два томика фильдингова «Томаса-Ионеса» (Том-Джона), в маленьком формате, с картинками, перевода Харламова. Это было первым возмездием за словесные труды его.

По кончине отца своего он вышел в отставку поручиком и уехал на родину. Там однажды мы сошлись на короткое время; я нашел его уже играющим ролю надежного на себя в обществе: опытным за вистовым столом, любезным в дамском кругу и оратором перед отцами семейств, которые хотя и не охотники слушать молодежь, но его слушали. Такая жизнь не охладила, однако, в нем прежней любви его к словесности. При первом нашем свидании с глаза на глаз он спрашивает

меня, занимаюсь ли я по-прежнему переводами? Я сказываю ему, что недавно перевел из книги «Картина Смерти», сочинение Караччиоли, «Разговор выходца с того света с живым другом его». Он удивился странному моему выбору и дружески советовал мне бросить эту работу, убеждая тем, что по выбору перевода судят и о свойствах переводчика и что я выбором своим, конечно, не заслужу выгодного о себе мнения в обществе. «А я, — примолвил он, — думаю переводить из Вольтера с немецкого перевода». — «Что же такое?» — «Белого быка». — «Как! Эту дрянь, и еще не вольтерову, а подложную!» — вскричал я. И оба земляка поквитались.

Но рассеянная светская жизнь его недолго продолжалась. Земляк же наш, покойный Иван Петрович Тургенев, уговорил молодого Карамзина ехать с ним в Москву. Там он познакомил его с Николаем Ивановичем Новиковым, основателем или по крайней мере главною пружиною *Общества дружеского типографического* <...>

В этом-то *Дружеском обществе* началось образование Карамзина, не только авторское, но и нравственное. В доме Новикова он имел случай обращаться в кругу людей степенных, соединенных дружбою и просвещением; слушать профессора Шварца, преподававшего лекции о богопознании, о высоких предназначениях человека. Между тем знакомился и с молодыми любословами, окончившими только учебный курс. Новиков употреблял их для перевода книг с разных языков. Между ними по всей справедливости почитался отличнейшим Александр Андреевич Петров. Он знаком был с древними и новыми языками при глубоком знании отечественного слова, одарен был и глубоким умом, и необыкновенною способностию к здравой критике; но, к сожалению, ничего не писал для публики, а упражнялся только в переводах, из коих известны мне первые два года еженедельника под названием «Детское чтение»; «Учитель» в двух томах; «Хризомандер», мистическое сочинение; и «Багуатгета», тоже род мистической поэмы, писанной на санскритском языке и переведенной с немецкого. Карамзин полюбил Петрова, хотя они были не во всем сходны между собою: один пылок, откровенен и без малейшей желчи; другой угрюм, молчалив и подчас насмешлив. Но оба питали равную страсть к познаниям, к изящному; имели одинакую силу в уме, одинакую доброту в сердце; и это заставило их прожить долгое время в тесном согласии под одной кровлею у Меньшиковой башни, в старинном каменном

доме, принадлежащем *Дружескому обществу.* Я как теперь вижу скромное жилище молодых словесников: оно разделено было тремя перегородками; в одной стоял на столике, покрытом зеленым сукном, гипсовый бюст мистика Шварца, умершего незадолго перед приездом моим из Петербурга в Москву; а другая освящена была Иисусом на кресте, под покрывалом черного крепа. Карамзин оплакал раннюю смерть своего товарища в сочинении «Цветок над гробом Агатона».

После свидания нашего в Симбирске какую перемену нашел я в милом моем приятеле! Это был уже не тот юноша, который читал все без разбора, пленялся славою воина, мечтал быть завоевателем чернобровой пылкой черкешенки, но благочестивый ученик мудрости, с пламенным рвением к усовершению в себе *человека.* Тот же веселый нрав, та же любезность, но между тем главная мысль, первые желания его стремились к высокой цели. Тогда я почувствовал пред ним всю мою незначительность и дивился, за что он любил меня еще по-прежнему! Мы прожили недолго вместе. После того еще несколько раз встречались в Москве и наконец разлучились уже на долгое время: он отправился в чужие края, но не на счет общества, как многие о том разглашают, а на собственном иждивении.

М. А. Дмитриев

МЕЛОЧИ ИЗ ЗАПАСА МОЕЙ ПАМЯТИ

<...> Первая супруга Карамзина скончалась в 1802 году. Карамзин любил ее страстно. Видя безнадежность больной, он то рвался к ее постели, то отрываем был срочною работою журнала, который составлял его доход и был необходим для семейства. Это было мучительное время его жизни! Утомленный, измученный, бросился он на диван и заснул. Вдруг видит во сне, что он стоит у вырытой могилы, а по другую сторону стоит Екатерина Андреевна (на которой он после женился) и через могилу подает ему руку. Этот сон тем страннее, что в эти минуты, занятый умирающею женою, он не мог и думать о другой женитьбе и не воображал жениться на Екатерине Андреевне. Он сам рассказывал этот сон моему дяде. На Екатерине Андреевне он женился в 1804 году.

...Не было равнодушнее Карамзина и к похвале и к критике: первой не давал он большой цены, потому что его славолюбие было не мелочное авторское самолюбие; второю он не возмущался, потому что мелочи не тревожили никогда его философского спокойствия. В его характере было какое-то высокое спокойствие духа, которое мы находим у древних философов. Сердце его могло страдать, но дух не возмущался.

Кстати, о похвале и критике. Когда А. С. Шишков написал против нового карамзинского языка целую книгу: *Рассуждение о старом и новом слоге* (1803), мой дядя принес эту книгу к Карамзину и советовал отвечать. Но Карамзин, пробежав книгу, бросил куда-то, где она и осталась. В другой раз, это было при мне, казанский профессор Городчанинов прислал ему печатную книжку: *Разбор речей из Марфы Посадницы* и еще чего-то из его сочинений, разбор, наполненный похвалою. Та же участь постигла и эту книжку!

Он оставлял иногда без ответа письма, наполненные похвалами уважения, которые для всякого другого были бы очень приятны; также и присылку к нему книг. Дядя мой, строгий наблюдатель приличий, часто упрекал его в этом. Но это было не по гордости, а потому что Карамзин не любил пустого труда и берег дорогое время. Нынче некоторые тоже не отвечают на письма, но, во-первых, они не имеют тех прав: это не Карамзины; во-вторых, эта неучтивость так сходится у иных с образом жизни, с их обращением, что, очевидно, она происходит у них от одного недостатка воспитания. Карамзин был выше мелочей, хотя и его дядя мой в этом не извинял; а иные воображают себя выше других, потому что не разберут чужого достоинства.

Карамзин, говоря о русском языке, употреблял иногда вместо правила подобие, которое делало правило очевидным. У одного журналиста в Москве нашел он слово *кормчиев* вместо *кормчих*. Он сказал ему: «Разве вы напишете: *певчиев* вместо *певчих?*» Что сказал бы он о нынешних *помимо* и *совпадать*?

Возвратясь в Москву после нашествия французов, Карамзин жил сперва в доме Селивановского, на Большой Дмитровке; потом на Воздвиженке, в угольном доме Ф. Ф. Кокошки-

на, против церкви Бориса и Глеба. Я нередко бывал у него сперва вместе с моим дядею, потом и один, после вторичного отъезда его в Петербург на министерство.

Не было человека обходительнее и добрее Карамзина в обращении. Голос красноречивейшего нашего писателя был громок и благозвучен. Он говорил с необыкновенною ясностию; спорил горячо, но логически и никогда не сердился на противоречия. Вот как изобразил его Жуковский в письме к моему дяде. Хотя стихи эти и были вполне напечатаны в *Москвитянине*, но помещаю здесь этот отрывок по верности изображения. Это писано в 1813 году; но относится к времени, предшествовавшему 1812 году. Жуковский говорит о доме И. И. Дмитриева, сгоревшем во время нашествия иноплеменников, и вспоминает о тогдашнем его обществе, собиравшемся в саду, за чаем, под тению широкой липы:

Сколь часто прохлажденный
Сей тенью Карамзин,
Наш Ливий-Славянин,
Как будто вдохновенный,
Пред нами разрывал
Завесу лет минувших
И смертным сном заснувших
Героев вызывал
Из гроба перед нами!
С подъятыми перстами,
Со пламенем в очах,
Под серым юберроком
И в пыльных сапогах
Казался он пророком,
Открывшим в небесах
Все тайны их священны!

Я видал Карамзина в этом виде: с поднятыми перстами и с пламенем в очах. Изображение очень верно! — Эти стихи напечатаны ныне вполне в последних трех томах сочинений Жуковского.

Образ его жизни в Москве был чрезвычайно правилен. Всякое утро посвящал он труду, Истории Российского Государства; всякий день ездил верхом или ходил пешком перед обедом; в 10 часов вечера выходил в гостиную пить чай и принимал тех, которые приезжали к нему на вечер.

7 Зак № 3756 Карамзин

...Император Александр не знал Карамзина до 1811 года. В этом году, намереваясь посетить в Твери великую княгиню Екатерину Павловну, которая была тогда в супружестве за герцогом Голштейн-Ольденбургским, государь пожелал видеть там Карамзина, который по приглашению великой княгини и приехал в Тверь. Здесь-то читал он в первый раз государю свою *Историю*, что представлено на одном барельефе памятника, воздвигнутого историографу на его родине в Симбирске. Жаль очень, что и государь, и историограф изображены на нем не в современном костюме.

В это же время представил он Екатерине Павловне *Записку о древней и новой России*, написанную по ее желанию. Великая княгиня просила написать ее только для собственного прочтения и обещала хранить в тайне. Но, выслушав чтение этой *Записки* от самого Карамзина, она так прельстилась сказанными в ней истинами, что взяла ее из рук у автора и заперла в столик; а потом показала ее государю. Государю сначала не понравились откровенные замечания историографа. После благоволения за чтение *Истории* Александр на другой же день после прочтения *Записки* оказал к нему холодность и, разговаривая милостиво с супругой Карамзина, Екатериной Андреевной, не обращал к нему ни слова. Но на третий день все стало по-прежнему, как будто ничего не бывало.

Государь, между многотрудных дел войны и политики, брал с собою в путешествие рукопись *Истории Государства Российского*; читал со вниманием и даже делал на полях отметки, особенно в 9-м томе. На вопрос Карамзина, прикажет ли исправить места, им отмеченные, государь отвечал, что он делал эти отметки для себя; но чтобы печатал, как есть в рукописи.

Ф. Н. Глинка

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О КАРАМЗИНЕ

1

В раннем детстве, как запомню себя в нашем смиренном околотке (Смоленской губернии близ города Духовщина), мало читали и, кроме книг духовного содержания, почти не

имели других. Календарь, Жизнь Мирмонда (соч. Федора Эмина), Несчастный Неаполитанец и т. под. составляли вечернее чтение многочисленных в околотке дворян, разделявших свое время между хлопотами по хозяйству и наслаждениями самого радушного гостеприимства.

Вдруг появились у нас в доме «Мои безделки». Нам прислали эту книгу из Москвы — и как описать впечатление, произведенное ею? Все бросились к книге и погрузились в нее: читали, читали, перечитывали и наконец почти вытвердили наизусть. От нас пошла книга по всему околотку и возвратилась к нам уже в лепестках. Кто-то сказал: «Лучшая похвала автору, когда книгу его зачитывают до лепестков!» Так и сталось, думаю, повсюду с *первыми* опытами Карамзина. Никто, хоть бы самый рьяный противник Ник. Мих., не станет отрицать громадного влияния его на современное ему общество.

Из первых его сочинений повеяло уже каким-то свежим, живительным, о котором дотоле не имели понятия. В семействах помещиков, живших жизнию обыденною, бесцветною, он пробудил новую жизнь, поднял ряды незнакомых понятий, заговорил языком чувства и получил взамен всеобщее сочувствие. Он как будто дал ключ к самой природе, раскрыв красоты ее утешительные и на нашем севере. Читали его, поняли приятность смотреть на восходящее солнце, на запад, окрашенный угасающими лучами его, любоваться утренним пением птичек (за что позднее упрекали его достойные сами осмеяния насмешники), вслушиваться в шум родных ручьев, дружиться с домашнею природою и наслаждаться бесплатными ее дарами, с которыми легче миришься с случайностями жизни, охотнее веришь надеждам и, при ясном настроении души, привольнее поддаешься мечтам, рассыпающим столько золотых блесток на черный бархат жизни.

2

Прочитав первые опыты Карамзина, я поступил в 1-й кадетский корпус и на первом шагу встретился с славою и уже последующими опытами Николая Михайловича. Кадеты и рекреационные часы, и в классах, заслоняясь лавкою, тишком и украдкою читали и вытерживали наизусть музыкальную прозу и стихи, так легко укладывавшиеся в памяти.

Смело могу сказать, что из 1200 кадет редкий не повторял наизусть какой-нибудь страницы из «Острова Борнгольма». И это уважение, эта любовь к Карамзину доходила до того, что во многих кадетских кружках любимым разговором и лучшим желанием было: «Как бы пойти пешком в Москву поклониться Карамзину!»

3

Из северной столицы (по выпуске из корпуса) уехал я в полк, в теплую, цветущую Волынь. И там в кругу романтических полек встретил я громкую известность Карамзина и его «Бедную Лизу», кем-то переведенную на польский язык; и там молодые офицеры с гитарами в руках и часто с томными вздохами напевали: «Кто мог любить так страстно, как я любил тебя!»

4

Тотчас по возвращении наших армий из Парижа в С.-Петербург услышал я, что Николай Михайлович начал писать Историю России, и, не будучи еще знаком с ним лично, послал к нему несколько приобретенных мною *польских хроник*. В ответ получил я от него очень ласковое письмо, которое доселе храню за стеклом.

5

По прибытии Н. М. в Петербург (уже с первыми томами Истории) я познакомился с ним лично. Это была важная для него эпоха! Все надежды, может быть, и мечты его сосредоточились в этом кратком, но томительном периоде *ожидания*: «Как будет принята и оценена и в каком виде пропущена в печать его История?» В это время я был полковником гвардии, состоял при гвардейском штабе и был издателем «Военного журнала». Поэтому у меня было очень много знакомых — сослуживцев бивачных по штабам, и к тому присоединялись знакомства (по обстоятельствам весьма близкие) с лицами, стоявшими тогда во главе Управления. Кроме гр. Милорадовича, у которого я был ежедневным, я часто бывал у Паскевича, Чернышева, кн. А. Н. Голицына. У Николая же Семеновича Мордвинова и А. С. Шишкова я был

как домашний человек; даже имел доступ к недоступному тогда графу Аракчееву.

Если добавить к этому членов литературного общества <...>, которого я был председателем, а Гнедич вице-президентом, то легко понять, что мне доводилось иметь обширное знакомство в разных слоях общества. Я говорю об этом потому, что тогда мне сподручно было *видеть* и слышать все приемы и *суждения* насчет Истории Российского Государства и судьбы, ожидавшей ее в С.-Петербурге.

6

Н. М. имел привычку — и привычку неизменную, ходить (для здоровья) много, долго и во всякую погоду. Обыкновенно приходилось ему проходить мимо нашего Штаба, и я, завидя его в известный час, выбегал к нему навстречу, и у нас бывали разговоры любопытные *по тому времени*. Я сообщал ему взгляды разных партий и значительных единиц на его Историю, о которой всякий судил по-своему и то по слуху! Об ином Н. М. уже слышал и знал; о другом догадывался; а некоторые вещи были для него еще новы. Уже обе государыни были на стороне Карамзина, многие влиятельные особы стояли за него: но все чего-то недоставало. Полагали и, кажется, не ошибались, что Н. М-чу следовало сделать визит Аракчееву. Он исполнил эту процедуру, и на третий же, если не на другой день Истории Р. Г. разрешено появиться в свет.

7

Наконец, История Российского Государства принята, понята, пропущена в свет, и автор получил награду и приглашение ко двору. Раз зашел я к Н. М-чу с Гречем. Мы застали его в хлопотах по туалетной части: он по-особенному зазыву собирался на парадный обед во дворец. Он уже совсем был готов, как вошел Ал. Тургенев и, увидя на шее его огромный Владимирский крест, объявил, что с ним нельзя показаться на парадный обед, что никто уже не носит теперь таких крестов, потому что по новой форме положено носить маленькие крестики. Что тут было делать? Н. М-ч нашелся в затруднении. Тогда я снял у себя и предложил мой маленький, очень изящно отделанный Владимирский крестик. Николай Михай-

лович принял, благодарил и, сняв с шеи свой огромный крест, подал мне, сказав с любовью и ласкою: «Примите моего старого товарища, с которым я свыкся: по заветному русскому обычаю обменяемся крестами, и отныне мы будем крестовыми братьями». Он и доказал это на деле. Раз Ал. Тургенев, приехав из Павловска, сказал мне: «Я сегодня обедал с Карамзиным у императрицы, и когда она завела речь о Письмах русского офицера, то он говорил об вас с таким чувством и жаром, что не всякий брат так отзовется о брате <...>

10

Я спросил еще его: откуда взяли вы, Николай Михайлович, такой чудесный слог? Он отвечал: «Из камина!» — «Как из камина?!« — «А так: я переводил одно и то же раз, два и три раза и, прочитав и обдумав, бросал в камин, пока наконец доходил до того, что мог издать в свет».

11

А вот черта находчивости Карамзина. Перед войною 1807-го года при вызове народного ополчения (милиции) издан был краткий манифест, из которого явно выглядывал «Наполеон-антихрист». Народ так и не понял и принял его за *сына погибели*. После несчастного Фридландского сражения довелось Карамзину ехать из Москвы в С.-Петербург, и вот (он имел привычку, завидя станцию, отпускать лошадей вперед, чтобы пройти пешком), когда он подходил к станции Яжелбич, собравшаяся у станции толпа крестьян обратила его внимание. Из толпы выходили шум, крики и даже угрозы. Станционный смотритель держал в руке газету и разъяснял по-своему известие из-за границы. «О чем это шумите, ребята?» — спросил Карамзин. «Да как же, батюшка! — отвечал один из более речистых. — Царь наш, видишь, помирился с Наполеоном, а он ведь (сказано было) *антихрист!!!*» — «Эх, вы, братцы! — возразил Карамзин. — Да разве не прочли в газете, что дело-то было *на воде*; мир заключен посреди реки: вот царь прежде окрестил его, а там уж помирился!» — «Ой ли так? — закричали крестьяне. — Ну, слава Богу!» — и, сняв шапки, крестились и весело разошлись по домам <...>

14

<...> В 1825 году поехал я (тогда еще считалось это диковинкой) на пароходе «Берта» в Петергоф на известный *праздник*. Пароход не был еще как нынешние; качка заставила меня выйти на палубу. Оттуда, еще издалека, увидел я на берегу, выше кипевшей внизу толпы, человека величавого, стоявшего неподвижно и спокойно смотревшего на *заходящее* солнце, позлатившее небо и залив, утихший после волнения. Сойдя с парохода и пробравшись сквозь толпы суетившегося народа, я очутился лицом к лицу с Карамзиным. «Что вас вызвало сюда, Николай Михайлович?» — спросил я. Он отвечал: «Я всякий вечер прихожу сюда смотреть на заходящее солнце».

Но петергофское солнце заходило, а солнце его славы все более и более разгоралось: известно, как с той поры оценен был он Отечеством.

А. С. Пушкин

КАРАМЗИН

.........печатью вольномыслия.

Болезнь остановила на время образ жизни, избранный мною. Я занемог гнилою горячкой. Лейтон за меня не отвечал. Семья моя была в отчаянье; но чрез шесть недель я выздоровел. Сия болезнь оставила во мне впечатление приятное. Друзья навещали меня довольно часто; их разговоры сокращали скучные вечера. Чувство выздоровления — одно из самых сладостных. Помню нетерпение, с которым ожидал я весны, хоть это время года обыкновенно наводит на меня тоску и даже вредит моему здоровью. Но душный воздух и закрытые окна так мне надоели во время болезни моей, что весна являлась моему воображению со всею поэтической своей прелестию. Это было в феврале 1818 года. Первые восемь томов «Русской истории» Карамзина вышли в свет. Я прочел их в моей постеле с жадностию и со вниманием. Появление сей книги (так и быть надлежало) наделало много шуму и произвело сильное впечатление, 3000 экземпляров разошлось в один месяц (чего никак не ожидал и сам Карамзин) — пример единственный в нашей земле. Все, даже светские женщины,

бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Коломбом. Несколько времени ни о чем ином не говорили. Когда, по моем выздоровлении, я снова явился в свет, толки были во всей силе. Признаюсь, они были в состоянии отучить всякого от охоты к славе. Ничего не могу вообразить глупей светских суждений, которые удалось мне слышать насчет духа и слова «Истории» Карамзина. Одна дама, впрочем весьма почтенная, при мне, открыв вторую часть, прочла вслух: *«Владимир усыновил Святополка, однако не любил его...»* *Однако!..* Зачем не *но? Однако!»* Как это глупо! чувствуете ли всю ничтожность вашего Карамзина? *Однако!* — В журналах его не критиковали. Каченовский бросился на одно предисловие.

У нас никто не в состоянии исследовать огромное создание Карамзина — зато никто не сказал спасибо человеку, уединившемуся в ученый кабинет во время самых лестных успехов и посвятившему 12 лет жизни безмолвным и неутомимым трудам. *Ноты* «Русской истории» свидетельствуют обширную ученость Карамзина, приобретенную им уже с тех лет, когда для обыкновенных людей круг образования и познаний давно окончен и хлопоты по службе заменяют усилия к просвещению. — Молодые якобинцы негодовали; несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий, казались им верхом варварства и унижения. Они забывали, что Карамзин печатал «Историю» свою в России; что государь, освободив его от цензуры, сим знаком доверенности некоторым образом налагал на Карамзина обязанность всевозможной скромности и умеренности. Он рассказывал со всею верностию историка, он везде ссылался на источники — чего же более было требовать от него? Повторяю, что «История государства Российского» есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека.

Некоторые из людей светских письменно критиковали Карамзина. Никита Муравьев, молодой человек, умный и пылкий, разобрал предисловие или введение: предисловие!.. Мих. Орлов в письме к Вяземскому пенял Карамзину, зачем в начале «Истории» не поместил он *какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян*, т. е. требовал романа в истории — ново и смело! Некоторые остряки за ужином пере-

ложили первые главы Тита Ливия слогом Карамзина. Римляне времен Тарквиния, не понимающие *спасительной пользы самодержавия*, и Брут, осуждающий на смерть своих сынов, *ибо редко основатели республик славятся нежной чувствительностию*, — конечно, были очень смешны. Мне приписали одну из лучших русских эпиграмм; это не лучшая черта моей жизни.

* * *

...Кстати, замечательная черта. Однажды начал он при мне излагать любимые свои парадоксы. Оспоривая его, я сказал: «Итак, вы рабство предпочитаете свободе». Карамзин вспыхнул и назвал меня своим клеветником. Я замолчал, уважая самый гнев прекрасной души. Разговор переменился. Скоро Карамзину стало совестно, и, прощаясь со мною, как обыкновенно, упрекал меня, как бы сам извиняясь в своей горячности: «Вы сегодня сказали на меня то, чего ни Шихматов, ни Кутузов на меня не говорили». В течение шестилетнего знакомства только в этом случае упомянул он при мне о своих неприятелях, против которых не имел он, кажется, никакой злобы; не говорю уж о Шишкове, которого он просто полюбил. Однажды, отправляясь в Павловск и надевая свою ленту, он посмотрел на меня наискось и не мог удержаться от смеха. Я прыснул, и мы оба расхохотались...

КРИТИКА О Н. М. КАРАМЗИНЕ

Б. М. Эйхенбаум

I

В 1815 году Карамзин писал французское письмо великой княгине Екатерине Павловне в ответ на ее предложение заняться историей современности: «История, скромная и торжественная, любит тишину страстей и могил, удаленность и сумерки, из всех времен грамматики ей более всего приличествует давно прошедшее. Быстрое движение и шум настоящего, близость предметов и их слишком ослепляющий свет смущают ее». Еще раз, в 1813 году, он писал ей же, что охотно гуляет ночью по разоренной Москве, когда «лунные лучи падают на скелеты этих когда-то великолепных дворцов, которые теперь опустошены пламенем и имеют вид преддверия смерти (vestibules de la mort)». После этого не неожиданны для нас и полны смысла слова Карамзина в его красноречивом предисловии к «Истории Государства Российского»: «Прилежно истощая материалы древнейшей истории, я ободрял себя мыслию, что в повествовании о временах отдаленных есть какая-то неизъяснимая прелесть для нашего воображения: там источник поэзии! Взор наш, в созерцании великого пространства, не стремится ли обыкновенно — мимо всего близкого, ясного — к концу горизонта, где густеют, меркнут тени и начинается непроницаемость?»

Здесь — не просто обоснование исторических занятий, но определение состава самой исторической эмоции, оправдание самой обращенности к прошлому, и притом — оправдание эстетическое. «История Государства Российского» — конечно, не столько история, сколько героический эпос. Недаром этой грандиозной эпопее предшествовали, в качестве подготовительных этюдов, такие статьи, как: «О случаях и характерах в Российской истории, которые могут быть предметом

художеств». Ему нравится мысль — «задавать художникам предметы из отечественной истории... особливо пока мы еще не имеем красноречивых историков, которые могли бы поднять из гроба знаменитых предков наших и явить тени их в лучезарном венце славы... Должно приучить россиян к уважению собственного; должно показать, что оно может быть предметом вдохновений Артиста и сильных действий Искусства на сердце». К истории Карамзина привели долгие эстетические опыты и философские размышления. Поэтому в том, что он говорит об истории, можно и нужно видеть больше, чем взгляды на ее задачи.

Какая разница по сравнению с поэтикой Державина! Там, по выражению князя Вяземского, «все сияло, все горело ярким блеском. Много было очарования для воображения и глаз, но сердце оставалось в стороне. С Карамзиным наступила поэзия летнего сумрака». Вяземский верно определил новое у Карамзина: на смену блеску и яркому сиянию солнца являются сумерки и тени, вместо близкого, видного — дальнее, отодвинутое к горизонту, вместо зрения осязающего — зрение внутреннее, созерцание, почти слух. «Мимо всего близкого, ясного» — это действительно был новый и совершенно определенный эстетический принцип. Все прошлое — уже тем одним, что оно отодвигается к горизонту — становится «источником поэзии». На смену ослепительным видениям Державина, где слово было краской и почти самой вещью, является совсем иная поэтика, иное отношение к слову. Слово Карамзина не стремится дать образ вещи — оно направлено к каким-то иным областям нашего воображения или, лучше сказать, нашей фантазии.

II

Эта поэтика неразрывно связана у Карамзина с общефилософскими его суждениями. Рассудок и воображение восходят к одному источнику — к интуиции бытия, от которой идут нити в разные стороны. Мы слишком мало обращали до сих пор внимания на то, что Карамзин был не только художником, но и мыслителем и, можно сказать, первым нашим философом. Он любил «холодную» работу рассудка, и недаром Новиков упрекал его за это: «философия холодная мне не нравится; истинная философия, кажется мне, должна быть огненною, ибо она небесного происхождения». Карамзин не

случайно и не бессознательно пришел к новой поэтике; она обосновывается его размышлениями о человеческом значении и, вместе с ними, составляет общий строй его отношения к миру и человеку. С юных лет он задумывается над этими вопросами. Еще в одной из самых ранних своих вещей, «Прогулке», он изображает солнечный день, после которого наступает ночная тишина уединения, когда все погружается в глубокий сон, а человек возбуждается к священным размышлениям и сильнее чувствует свое существование. «Ощущаю живо, — восклицает Карамзин, — что я жив, и есть нечто отдельное от прочего, есть совершенное целое». Это чувство замкнутости в себе заставляет Карамзина обратить все свое внимание не на мир, а на свое существо, и углубляться в самопознание.

Но скоро разбивается представление о целости человека, и перед Карамзиным вырастает вопрос о соотношении между душой и телом, ибо без его решения не может быть, как он думает, познания самого себя. Мучась этим вопросом, Карамзин, еще совсем молодым человеком, 20-ти лет, затевает переписку с швейцарским философом Лафатером. Выбор этот не случаен: занятия «физиогномикой» должны были бы, как думал Карамзин, разъяснить вопрос о том, как сосуществуют и взаимно влияют душа и тело — он верил поэтому, что именно Лафатер разъяснит ему эту тайну. Но Лафатер разочаровал пылкого юношу: «lieber Herr Karamzin — davon versteh'ich nichts»[1].

Ответ Лафатера, видно, глубоко повлиял на Карамзина — он впервые задумался над вопросом о пределах и возможностях человеческого знания. По дороге в Лейпциг спутник Карамзина, студент, заговорил с ним о философии Мендельсона, о душе и теле. Вопрос — больной для Карамзина, и потому он иронически передает слова студента о том, что философическое уверение основывается «на доказательствах, доказательства на тех понятиях чистого разума, в которых заключаются все вечные, необходимые истины»... Карамзин отвечает на это теми же словами, какими он писал Лафатеру: Ежели бы мы могли узнать точно, что такое душа сама в себе, то нам все бы открылось; но — и Карамзин читает из записной книжки то самое, что написал ему Лафатер: «Глаз, по своему образованию, не может смотреть на себя без зеркала. Мы созерцаемся только в других предметах. Чувство бытия, лич-

---

[1] Милый господин Карамзин — этого я сам не понимаю (*нем.*).

ность, душа — все сие существует единственно потому, что вне нас существует, — по феноменам, или явлениям, которые до нас касаются»[1].

Отсюда начинаются своеобразные гносеологические размышления Карамзина, ход которых можно проследить. Из переписки с Лафатером Карамзин усвоил одно очень важное — что нет и не может быть познания души вне мира предметов и явлений и что, с другой стороны, самый этот мир познается только как зеркало души. Этим уже многое определяется и обосновывается поэтика. Природы самой по себе, космоса, как у Державина, нет в представлении человека, как нет и знания души самой в себе. Отсюда — слияние души с природой как единственно возможное отношение между миром и человеком. И вот — пейзажи Карамзина, где природы как самостоятельного целого, как замкнутого мира предметов нет. Весна — и Томсон, Альпы — и Руссо. Это еще не идеализм, потому что тут нет стройной гносеологии, но путь к нему намечается. И недаром из разговора с Кантом, как ни трудна его метафизика, Карамзин понял одно — что для человеческого знания есть предел, за которым «первый мудрец признается в своем невежестве. Здесь разум погашает светильник свой, и мы во тьме остаемся; одна фантазия может носиться в тьме сей и творить несобытное». В полном соответствии с этим разочарованием в теоретической философии творчество Карамзина направляется в другие, уже намеченные стороны, — в область нравственной философии, т. е. кантовского «практического разума», и в область фантазии как свободно-творческой деятельности человека. Гносеолоческие размышления не прекращаются, но уже нет стремления к «метафизике природы» — ее место заступает метафизика нравов», антропология в кантовском смысле, где человек рассматривается и интимно, как «темперамент», как стремящееся к личному счастью существо, и общественно, как исторический делатель. Так, кажется мне, можно понять соединение «любовных повестей» Карамзина с его «Историей Государства Российского».

---

[1] Надо признать, что при тогдашнем состоянии русского философского языка Карамзин удивительно хорошо справляется с очень нелегким немецким текстом Лафатера. Одно это указывает на большую вдумчивость и сознательность Карамзина в области философии.

III

Разочарование Карамзина в силе человеческого познания проявляется часто и в его собственных суждениях, и в тех афоризмах, которые он записывал для памяти. Он постоянно занимается философией и читает с большим вниманием, вникая в тонкости мысли и языка. Выбор афоризмов очень характерен для направления его ума в сторону философского идеализма — только существование Бога, требуемое всей нравственной природой человека, остается неприкосновенным. Афоризмы записаны по-французски. «Да, жизнь есть только сон; но сам тот, кто видит сон, существует». Дальше и это подвергается сомнению: «Если я и мог бы сомневаться в собственном существовании, то я все-таки не сомневался бы в существовании Бога». Склонность к философскому идеализму проявляется и в определении времени: «Время есть не что иное, как следование наших мыслей». Вопросы о науке, об истине и заблуждениях живо волнуют Карамзина, и он с большой страстностью борется с воззрениями Руссо. Ему нужно оправдать культуру как область практического творчества, и он пользуется гносеологией Локка, чтобы опровергнуть враждебное отношение Руссо к науке (статья «Нечто о науках, искусствах и просвещении», 1793 г.). Приведя восклицание Руссо — «но сколько заблуждений в науках!», — Карамзин пишет: «Правда, для того, что они несовершенны; но предмет их есть истина. Заблуждения в науках суть, так сказать, чуждые наросты, и рано или поздно исчезнут... Из темной сени невежества долго идти к светозарной истине сумрачным путем сомнения, чаяния и заблуждения». Здесь Карамзин развивает теорию человеческого знания: человек «собирает бесчисленные идеи или чувственные понятия, которые суть не что иное, как непосредственное отражение предметов, и которые носятся сначала в душе его без всякого порядка; но скоро пробуждается в ней та удивительная сила, или способность, которую называем мы разумом и которая ждала только чувственных впечатлений, чтобы начать свои действия. Подобно лучезарному солнцу освещает она хаос идей, разделяет и совокупляет их, находит между ними различия и сходства, отношения, частное и общее, и производит идеи особливого род, идеи отвлеченные, которые составляют знание». Тут же определяется точно, что такое знание: «Знать вещь есть не чувствовать только, но отличать ее от других вещей, пред-

ставлять ее в связи с другими». Большая сознательность и точность этого определения обличает в Карамзине очень вдумчивого и значительного, по тому времени, философа. В более поздней статье, «О счастливейшем времени жизни» (1803 г.), Карамзин опять, хотя и мельком, говорит о знании: «Оптимизм не есть философия, а игра ума: философия занимается только ясными истинами, хотя и печальными; отвергает ложь, хотя и приятную. Творец не хотел для человека снять завесы с дел Своих, и загадки наши никогда не будут иметь силы удовлетворения».

Так колеблется мысль Карамзина между эмпиризмом и идеализмом. И что это не было бессознательным повторением чужих мыслей, видно хотя бы по одной фразе из его письма к И. И. Дмитриеву от 1 апреля 1820 г., где он совершенно ясно понимает необходимую связь между чувством к природе и философией: «Пишу к тебе при ярком свете солнца: оно верно и на Москву светит. Чувство к природе еще живо в моем сердце, *несмотря на чистый идеализм моей философии*». Все яснее определяется отношение к жизни как к иллюзии, и вот, 30 сентября 1821 г., Карамзин пишет И. И. Дмитриеву: «В самом деле, чем более приближаюсь к концу жизни, тем более она кажется мне сновидением. Я готов проснуться, когда угодно Богу: желаю только уже не иметь мучительных снов до гроба, а мысль о смерти, кажется, не пугает меня».

Я думаю, что не без связи с этими умозрениями Карамзин написал замечательную повесть в форме автобиографического письма — «Моя исповедь» (1802 г.), где разработана личность человека, лишенного всякой веры в истину и науку, для которого жизнь — «китайские тени» и потому представляет только авантюрный интерес. Ветреник, безбожник, надуватель жен, остроумный карикатурист, который в Риме, «с добрыми католиками целуя туфель папы, укусил ему ногу и заставил бедного старика закричать изо всей силы», за что и высидел несколько дней в крепости св. ангела, — этот своеобразный русский Дон Жуан, которому «весь свет казался... беспорядочною игрою китайских теней (это было его любимое слово), все правила уздою слабых умов, все должности несносным принуждением», сносит, как философ, равнодушно житейские испытания и, оглядываясь на прошлое, так заканчивает свое письмо: «Если бы я мог возвратить прошедшее, то думаю, что повторил бы снова все дела свои: захотел бы опять укусить ногу папе, распутствовать в Париже, пить в Лондоне,

играть любовные комедии в театре и в свете, промотать имение и увезти жену свою от второго мужа. Правда, что некоторые люди смотрят на меня с презрением и говорят, что я остыдил род свой; что знатная фамилия есть обязанность быть полезным человеком в государстве и добродетельным гражданином в отечестве. Но поверю ли им, видя, с другой стороны, как многие из наших любезных соотечественников стараются подражать мне, живут без цели, женятся без любви, разводятся для забавы и разоряются для ужинов! Нет, нет! Я совершил свое предопределение и, подобно страннику, который, стоя на высоте, с удовольствием обнимает взором пройденные им места, радостно вспоминаю, что было со мною, и говорю себе: «так я жил!»

В научной литературе, до сих пор бессильной перед творчеством Карамзина (как и Державина, и Жуковского), принято считать эту вещь за сатиру. Но из приведенных цитат, я думаю, уже видно, что это совсем не простая сатира. Здесь с большим мастерством создан образ вольнодумца и повесы, для которого мир есть «беспорядочная игра», и потому даже собственное «я» не представляет для него никакой нравственной ценности.

Так воплощалась интуиция Карамзина на пути ее философского осознания. Другая линия, идущая от той же интуиции, была поэтическая. Здесь она принимала конкретный вид, создавая из лично пережитого образы. Художественным материалом в деле этого воплощения служил язык, и Карамзин много над ним работал. Он понимал, что язык — не простая форма, но «следствие многих умствований и соображений». Осмысливая грамматику, он утверждал, что «всякое прилагательное имя есть отвлечение. Времена глаголов, местоимения — все сие требует утонченных действий разума». Вопросы синтаксические — о порядке слов и их расположении в речи — тоже интересовали его как сознательного мастера. «Мне кажется, — писал он, — что для переставок в русском языке есть закон; каждая дает особенный смысл; и где надобно сказать: «солнце плодотворит землю», там — «землю плодотворит солнце» или «плодотворит солнце землю» будет ошибкою. Лучший, т. е. истинный, порядок всегда один для расположения». Это утверждение особенно интересно, если вспомнить давно замеченное в синтаксисе

самого Карамзина явление: преобладание такого порядка слов, когда определяющее слово стоит после определяемого, как хотя бы в заглавии: «История Государства Российского». Очевидно, этот, а не другой порядок слов был для него лучшим, т. е. наиболее выражающим нужную ему истину, хотя и отличался от принятого в обычной, не поэтической речи[1].

И действительно, — Карамзин ясно чувствовал какое-то принципиальное различие между употреблением языка в речи практической, где он служит простым средством, и в речи поэтической, где он — материал. Литературный язык к его времени настолько удалился от разговорного, что становился непонятным. Это побудило Карамзина обратиться к языку разговорному, чтобы с его помощью освежить художественную речь новыми элементами. Так бывает в истории развития каждого литературного языка (напр., в Италии во времена Данте), но отсюда совсем еще нельзя заключать о том, что основная цель Карамзина была — сблизить или отождествить речь художественную с речью разговорной, что именно в этом состояла его реформа <...> Нет, он слишком ясно сознавал разницу между словом как средством и словом как поэтическим материалом; он слишком ценил элемент поэтического красноречия — «то дарование и то искусство, которым фракийский Орфей пленял и зверей, и птиц, и леса, и камни, и реки, и ветры». Замечания его о том, как надо поступать автору с русским языком, удивительно тонки, — они могут быть интересны и для современного теоретика, разрабатывающего проблему поэтического языка в отличие его от практического. «Что же остается делать автору? — спрашивает Карамзин, — выдумывать, сочинять выражения, угадывать лучший выбор слов; давать старым некоторый новый смысл, предлагать их в новой связи, *но столь искусно, чтобы обмануть читателей и скрыть от них необыкновенность выражения»* <...> Я возвращаюсь к началу статьи. В бытии Карамзин видел не предметы сами по себе, не материальность,

---

[1] Об этом писал Вяземский: «*В «Истории Государства Российского...* можно найти многие примеры счастливому разнообразию в перестановке прилагательных. В Карамзине, а особенно в историческом творении его, сие передвижение слов делалось, так сказать, само собою, вследствие один раз навсегда обдуманного навыка». (Статья «Сочинение в прозе В. Жуковского», 1827 г.)

не природу, но созерцающую их душу. Истина — у конца горизонта, где начинается непроницаемость. Мимо всего близкого, ясного — потому что бытие не в нем, а по ту сторону его. И если в философии это приводило к утверждению, что жизнь есть сон или что мир — зеркало души, то в поэтике это заставляло относиться к слову не как к зрительному образу или краске, но как к элементу музыкальному. Слово для него замкнуто в себе и обращается не столько к воображению, сколько к фантазии, не столько к зрению вещей, сколько к созерцанию отраженной в них души. Поэтому речь Карамзина всегда строится по закону внутренней языковой интонации, а не по принципу описания. Отсюда — повышенная (но не ложная) риторика и торжественная периодичность его речи, из своих собственных законов построяющей мелодию. Примеры такого отношения к языку бесчисленны — и в «Письмах русского путешественника», и в любовных повестях, и в «Истории», и в «Афинской жизни» — замечательной и мало оцененной картине древнегреческой культуры. Перечтите, например, начало его новеллы «Сиерра-Морена». Вы почувствуете, что эта риторика основана на стремлении дать законченную мелодию и обращается больше всего к слуху. Даже звуковая сторона этого отрывка отличается особенной цельностью: Андалузия — миртовые рощи — Гвадальквивир — розмарином увенчанная Сиерра-Морена — Алонзо — Эльвира — черный мрамор. Заметьте: Андалузия и Алонзо; Гвадальквивир и Эльвира; розмарин, Морена и мрамор — эта звуковая стройность, эти аллитерации здесь не случайны. Как поэтический язык отличен от разговорного, так и искусство отлично от простого описания. Во второй книжке «Аонид» Карамзин обмолвился своеобразным эстетическим афоризмом. Говоря о том, что описание чувств надо означать чертами личными, а не общими, он прибавляет: «Сии-то черты, сии подробности и сия, так сказать, личность уверяют нас в истине описаний и часто обманывают; *но такой обман есть торжество искусства.* В соответствии с предыдущим это надо, по-видимому, понимать так, что искусство не дает действительного описания реальной личности, но творит ее образ, и притом должно это делать так, чтобы, при помощи якобы личных черт, скрыть фантазию — подобно тому, как скрытой должна быть «необыкновенность выражения» в поэтическом языке.

Это немногое, что мне удалось сказать здесь, может слу-

жить введением к новой разработке творчества Карамзина. Между его философией и поэтикой — полное соответствие. Это не просто «сентиментализм» как умонастроение эпохи, пассивно воспринятое, но нечто гораздо большее. Если к этому присоединить рассмотрение его любовных повестей и исторических образов, его эстетику и политику, то должно получиться нечто весьма отдаленное от традиционного учения о нем как только о представителе «Ментиментализма». Обычный историко-литературный метод — подведения художника под общие схемы умонастроения той или другой эпохи — ложен. Он не выясняет главного — какова внутренняя, имманентная связь между писателями разных поколений, ибо основан на представлении о творчестве как о пассивном отражении, а не активном делании. Тем самым теряется самое существенное, как потерялась для исследователей Карамзина (потому что не укладывается в схему) замечательная «Моя исповедь», да и многое другое. И можно прямо сказать, что мы еще не вчитались в Карамзина, потому что неправильно читали. Искали буквы, а не духа. А дух реет в нем, потому что он, «платя дань веку, творил и для вечности». (*«Сквозь литературу». Отрывок из книги, 1916.*)

ТЕМЫ СОЧИНЕНИЙ

1. Автор и герои повести Карамзина «Бедная Лиза».
2. История в произведениях Карамзина.
3. Чувствительность и рассудок в сочинениях Карамзина.
4. Природа в прозе Карамзина.
5. Проблема личности в сочинениях Карамзина.
6. Повести Карамзина и «Повести Белкина».
7. Власть и свобода в повести Карамзина «Марфа-посадница, или Покорение Новагорода».

ТЕЗИСНЫЙ ПЛАН СОЧИНЕНИЯ

ИСТОРИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ КАРАМЗИНА

1. Наслаждение стариной — черта просвещенного и чувствительного человека. «Исторические» декорации в повести «Бедная Лиза». Рассказчик в равной мере меланхолически наслаждается заброшенным монастырем (исторические воспоминания), пейзажем и рассказом о героях. Ср. сходные историко-меланхолические ноты в повестях «Остров Борнгольм» и «Сиерра-Морена».

2. Идеализация старины (естественность) и критика современности. Ее издержки (книжная мечтательность Эраста, губящая Лизу). Ироническая идеализация «тех времен, когда русские были русскими» в повести «Наталья, боярская дочь». Принципиальное различие прошлого и настоящего.

3. Сомнительность прогресса. Настоящее как повторение прошлого. Сизиф — символ человечества («Мелодор к Филалету»). Возражения Филалета. Примеры прошлого говорят о трагизме человеческого существования и предостерегают как от наивного оптимизма, так и от отчаяния, если история вновь идет «не тем путем».

4. Необходимость исторического знания для гражданина (одушевление великими примерами), философа и практического политика (соизмерение утопических проектов и данности, укорененной в традиции).

5. Конфликт повести «Марфа-посадница, или Покорение Новагорода». Ограниченность правды Марфы, ее увлеченность страстью не отменяют авторского сочувствия. Историческая правота Иоанна не гарантирует дальнейшего бесконфликтного исторического развития (клятва Иоанна и примечание Карамзина о конце династии Рюриковичей). Цена исторической необходимости.

6. «История государства Российского» — закономерный итог творческого пути Карамзина. «Должно знать, как искони мятежные страсти волновали гражданское общество и какими способами благотворная власть ума обуздывала их бурное стремление, чтобы учредить порядок, согласить выгоды людей и даровать им возможное на земле счастье». Необходимость нравственной оценки исторического лица (Иоанн Грозный). История как свидетельство о слабости и силе человека. Политика как продолжение истории.

СОЧИНЕНИЕ ПО ТВОРЧЕСТВУ Н. М. КАРАМЗИНА

СМЫСЛ ПОВЕСТИ Н. М. КАРАМЗИНА «БЕДНАЯ ЛИЗА»

Драматическая история жизни двух молодых людей, рассказанная Н. М. Карамзиным, не может оставить равнодушным сердце современного читателя, хотя события происходили в прошлом столетии. Бедная крестьянская девушка, оставшись без отца, взяла на свои плечи заботу о старой матери. Она продавала в Москве живые цветы. Однажды у Лизы купил цветы молодой барин. Красота девушки его поразила, и он влюбился в Лизу. Далее события развиваются быстро и драматично. Обстоятельства вынуждают Эраста пойти на разрыв с Лизой, и она в отчаянии покончила жизнь самоубийством. Повесть завершается поздним раскаянием Эраста.

Итак, сюжет повествования предельно прост. С точки зрения художественности повесть интереса для искушенного читателя не представляет.

Задавшись вопросом определить, в чем же все-таки смысл написания этой вещи, я сразу отбросил версию о политических, общественных либо исторических задачах, которые, предположительно, мог поставить перед собой автор. Слишком явно и даже весьма прямолинейно Карамзиным выстроена схема, при которой Лиза и Эраст не могут составить счастье друг другу. Она — крестьянка, он — барин. Казалось бы, достаточно этого момента для несостоятельного счастья молодых людей. Но тогда бы необходимо было рассуждать о социальном неравенстве, темном обществе и прочих несовершенствах того общества. Но нет. Карамзин не лишает своего героя благородства, и эта проблема вполне преодолима. Правда, он обещает жениться на Лизе только после смерти своей матери,

мнение которой переступить невозможно. Но и все же любовь оказывается выше социального неравенства.

Меня, замечу сразу, насторожило тем не менее решение Эраста невольно ждать смерти матери, чтобы обрести счастье. С этого момента я начал четко замечать чреду нравственных срывов Эраста. Надо сказать, автор сам помог мне в этом: он охарактеризовал Эраста как человека беспечного, легкомысленного: «...он вел рассеянную жизнь, думал только о своем удовольствии, искал его в светских забавах, но часто не находил: скучал и жаловался на судьбу свою». Естественно и довольно скоро молодые люди впадают в грех. Конечно, инициатором был Эраст. Бедная Лиза уже не могла оценить происходящее, потеряла чувство осторожности.

Дальше события развиваются уже с одним отрицательным героем. Это, конечно, Эраст. Познав плотскую близость с девушкой, он стал к ней охладевать. Искал причины, чтобы реже встречаться. Потом вообще уехал на войну. Но и там «...вместо того, чтобы сражаться с неприятелем, играл в карты и проиграл почти все свое имение». По возвращении нужда заставила его жениться на богатой вдове. На этом его нравственное падение закончилось. И лишь его позднее раскаяние у могилки бедной Лизы говорит читателю о том, до чего может довести безнравственная жизнь.

Гораздо сложнее и многограннее характер Лизы. Девушка эта, на мой взгляд, воплотила в себе все лучшие черты русской женщины, и мне даже не хочется добавлять к этой фразе временну́ю принадлежность героини. Такие женские качества драгоценны во все времена. Лиза красива и трудолюбива. Она честна до крайности. Когда Эраст предлагал ей за цветы рубль вместо пяти копеек, она отказалась от завышенной цены.

Ее отличает широта взглядов: девушка не навязывает любимому своих условий после их близости. Она не обременяет больную мать своим горем.

И даже когда решается на ужасный поступок, передает матери на словах, что деньги «не краденые». Мать, узнав о смерти дочери, от горя тут же скончалась. Такие ранимые и хрупкие против всякого зла сердца русских женщин.

Смысл этой печальной истории любви, по-моему, в том, что русский читатель впервые увидел перед собой произведение, в котором мораль, нравственность были нарочито выставлены на видное место. Карамзин как бы утверждал, что все

преодолимо в отношениях между людьми — материальное, общественное, политическое, но если душа человеческая будет лишена нравственных устоев, кроме трагедий, это ничего не принесет миру.

Заслуга произведения Карамзина, я полагаю, еще и в том, что оно предвосхитило появление в русской литературе новых героев, уже не таких схематичных, как у Карамзина, а с полной художественной силой решающих не только нравственные, но и политические, социальные и общественные конфликты, которые только намечались в «Бедной Лизе». Это и пушкинские Онегин с Татьяной, и Катерина в «Грозе» Островского, и многие другие.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Карамзин Н. М. Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1966. (Большая серия «Библиотеки поэта»).

Карамзин Н. М. Сочинения: В 2 т. Л., 1984.

Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 1984. («Лит. памятники»).

Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М., 1991.

Карамзин Н. М. История государства Российского: В 12 т. М., 1989. — (Академическое издание не окончено; вышло в свет 5 томов).

КРИТИКА, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, БИОГРАФИИ

Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями (IV. О том, что такое слово; VII. Об Одиссее, переводимой Жуковским; X. Карамзин; XIII. О лиризме наших поэтов; XXXI. В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность) // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. Л., 1952. Т. 8. С. 229—233; 236—245; 248—261; 266—267; 369—409. (Или любое другое издание.)

Эйхенбаум Б. М. Карамзин // Эйхенбаум Б. О прозе. Л., 1969. С. 203—213.

Лотман Ю. М. Поэзия Карамзина. «О древней и новой России и ее политическом и гражданском отношении» Карамзина — памятник русской публицистики начала XIX века // Лотман Ю. М. Избр. статьи: В 3 т. Таллинн, 1992. С. 159—193; 194—206.

Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина. М., 1987.

Эйдельман Н. Я. Последний летописец. М., 1983.

В а ц у р о В. Э. «Подвиг честного человека» // Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». М., 1986. С. 29—113.

З о р и н А. Л., Н е м з е р А. С. Парадоксы чувствительности. Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза» // «Столетья не сотрут...» М., 1989. С. 7—54.

Т о п о р о в В. Н. «Бедная Лиза» Карамзина: Опыт прочтения. М., 1995.

СОДЕРЖАНИЕ

Учебное издание

Николай Михайлович Карамзин

ПОВЕСТИ
СТИХОТВОРЕНИЯ
ПУБЛИЦИСТИКА

Редактор *О. А. Кузьмичева*
Технический редактор *Н. В. Сидорова*
Корректор *Г. М. Левина*

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Гигиеническое заключение
№ 77.99.14.953.П.12850.7.00 от 14.07.2000

ООО «Издательство «Олимп»
Изд. лиц. ЛР № 065910 от 18.05.98.
129085, Москва, пр. Ольминского, д. 3а, стр. 3
E-mail: olimpus@dol.ru

ООО «Издательство АСТ»
Изд. лиц. ИД № 02694 от 30.08.2000
674460, Читинская обл., Агинский р-н,
п. Агинское, ул. Базара Ринчино, д. 84
www.ast.ru
E-mail: astpub@aha.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов в Тульской типографии.
300600, г. Тула, пр. Ленина, 109.



Незаменимая помощь школьнику!
Все самое необходимое!

«Школьная хрестоматия» – это произведения современных авторов и классиков мировой литературы

– обязательные для чтения и изучения по школьной программе
– обычно не включаемые в традиционные хрестоматии и учебники
– рекомендованные для внеклассного чтения

А также необходимые комментарии, темы сочинений и рефератов, развернутые планы и образцы лучших из них

ISBN 5-17-008462-5



школьная хрестоматия

НИКОЛАЙ КАРАМЗИН

Повести. Стихотворения. Публицистика.

ИХ